

1/2026

Путеводная школьное чтение звезда

12+



Михаил
Салтыков-Щедрин

Сказки

юбилейный номер

ГУМАНИТАРНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
РЕКОМЕНДОВАН МИНИСТЕРСТВОМ ОБ-
РАЗОВАНИЯ РОССИИ
ДЛЯ ПРОГРАММНОГО
И ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАЛ ПИСАТЕЛЬ

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
в 1996 году

Главный редактор:
ДМИТРИЙ ЛИХАНОВ

Редакционная коллегия:
ИРИНА АРЗАМАСЦЕВА,
критик, доктор филологических наук

ВЛАДИСЛАВ БАХРЕВСКИЙ,
писатель

ЛОЛА ЗВОНАРЕВА,
критик, доктор исторических наук

ИРИНА КРАЕВА,
писатель

ЕЛЕНА НЕСТЕРИНА,
писатель

Обложка, титул:
ПЕТР ЛЮБАЕВ

Художник:
АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВ

Над номером работали:
ПОЛИНА МОРДОВИНА,
СВЕТЛАНА МОРОЗОВА

Корректор:
ОЛГА ЗАЙЦЕВА

Адрес редакции:
101990, Москва, Армянский пер., 11/2а.
Тел.: (495) 625-8200, 623-5868,
факс: (495) 624-2490.
pzv@defond.org

Отпечатано в ООО «Кировская областная
типография».
610004, г. Киров, ул. Ленина, 28.
www.printkirov.ru
Тираж 3000 экз.

Журнал зарегистрирован МПТР РФ.
Свидетельство ПИ № 77-5947
от 21.12.2000 г.

Журнал издается при финансовой
поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Рукописи, присланные в редакцию,
не возвращаются и не рецензируются.

При оформлении журнала использованы
иллюстрации с сайта www.pixabay.com

Учредитель:
Международная ассоциация детских
фондов, Д.А. ЛИХАНОВ
© «Путеводная звезда. Школьные чтения»,
2005

Свет «Путеводки»

Этот номер журнала «Путеводная звезда» – юбилейный. В прошлом еще веке, в 1996 году, мой отец, выдающийся советский и русский писатель Альберт Анатольевич Лиханов, выпустил первый номер журнала для школьного чтения. И дал ему имя, которое и по сей день направляет нынешних школяров в мире хорошей и доброй литературы. Напомню нынешнему молодому читателю: времена в ту пору были не слишком радостные. Подходила к концу война в Чечне. Общество раскалывалось на богатых и бедных. Экономика трещала по швам. До школьного ли чтения? Однако, отец, страдая сердцем от развала великой страны, все же пытался внести в этот вселенский раздрай понятия вечные, каковыми живет человеческая душа, в особенности юная: любви, товарищества, сострадания, поддержки, честности и отваги. Ведь именно этому обучает всякого из нас мировая художественная литература.

Чехов, Толстой, Гоголь, Горький, Верн, Голдинг, Крапивин, Лондон – весь цвет классической подростковой литературы публиковался в разные годы на страницах «Путеводной звезды». Мы искали и находили мало известные или почти неизвестные произведения. Публиковали писателей современных, для которых наш журнал стал путевкой в большую литературу. Обложки журнала оформляли такие выдающиеся книжные графики, как Юрий Иванов, Марина Пинкисевич, Слава Люлько. А еще на последних страницах каждого номера мы публиковали вопросы, которые самый простой учитель литературы в самом дальнем поселке нашей страны мог задать своим ученикам. И получить ответ. И заставить их не только прочесть ту или иную повесть, но и задуматься о ней, переживать, сострадать ее героям.

Есть в журнале еще одна особенность: цветная вкладка «Большая перемена», которая раскрывает юные дарования, публикуя их первые пробы пера в поэзии и прозе. Первым нашим авторам, как не трудно посчитать, уже давно за сорок. Это взрослые, состоявшиеся люди. Однако я совершенно уверен, что первые свои публикации в нашем журнале они хранят и по сей день.

За тридцать лет мы издали триста пятьдесят шесть выпусков «Путеводной звезды»! И это, по правде сказать, полноценная школьная библиотека. Наш тираж, в первые годы превышавший двадцать тысяч экземпляров, и теперь насчитывает рекордные для литературных журналов России три тысячи экземпляров. Все это означает только одно: подростковая литература не умерла, как многие полагали. Она продолжает жить и интересоваться тех, кто только вступает во взрослую жизнь, отрицает ее и вместе с тем пытается ее понять.

Даже теперь, когда основателя журнала «Путеводная звезда» Альберта Анатольевича Лиханова нет с нами, как нет и первого ее редактора Агнессы Гремичкой, журнал продолжает выходить благодаря усилиям небольшой, но сплоченной команды, каждый участник которой посвятил свою жизнь тому, чтобы «Путеводная звезда» как можно дольше горела в юношеских сердцах.

Дмитрий ЛИХАНОВ,
главный редактор

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Сказки



Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подъяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

– Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, – сказал один генерал, – вижу, будто живу я на необитаемом острове...

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

– Господи! да что ж это такое! где мы?! – вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать: точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все

это не больше как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

– Теперь бы кофейку испить хорошо! – молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал. – Что же мы будем, однако, делать? – продолжал он сквозь слезы. – Ежели теперича доклад написать – какая польза из этого выйдет?

– Вот что, – отвечал другой генерал, – подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

– Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! – сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано – сделано. Пошел один генерал направо и видит – растут деревья, а на деревьях

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Михаил Салтыков-Щедрин (настоящая фамилия Салтыков) – русский писатель, один из наиболее известных сатириков XIX века, журналист, государственный деятель, Рязанский и Тверской вице-губернатор. Михаил Евграфович родился 15 (27) января 1826 года в старинной дворянской семье в имении родителей в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. В десять лет он поступил в Московский дворянский институт, а два года спустя был переведён казеннокоштным воспитанником в Царскосельский лицей. Там он и начал свою деятельность писателя. В наказание за вольнодумие в апреле 1848 года был выслан в Вятку и определен канцелярским чиновником при Вятском губернском правлении, впоследствии дослужился до должности советника гу-

бернского правления. После возвращения из ссылки возобновилась, с большим блеском, литературная деятельность писателя. Он стал известен как мастер сатиры и иронии, использовал жанр сказки и притчи для критики общественных порядков. Его наиболее известные произведения – «История одного города», «Сказки», «Мелочи жизни» – ярко иллюстрируют его взгляды на бюрократию, коррупцию и человеческие пороки. Роман «Господа Головлевы» признан одним из лучших социально-психологических романов XIX века. Салтыков-Щедрин оказал значительное влияние на развитие русской сатиры и реализма, его творчество стало важной частью русской культурной традиции. Писатель умер 28 апреля (10 мая) 1889 года.

всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть – ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подъяческую!» – подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес – а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

– Господи! еды-то! еды-то! – сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

– Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь?

– Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натошак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

– Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? – сказал один генерал.

– Да, – отвечал другой генерал, – признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде рождаются, как их утром к кофею подают!

– Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как все это сделать?

– Как все это сделать? – словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

– Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! – сказал один генерал.

– Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! – вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у сво-

его товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

– С нами крестная сила! – сказали они оба разом. – Ведь этак мы друг друга съедим! И как мы попали сюда? кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл?

– Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! – проговорил один генерал.

– Начинайте! – отвечал другой генерал.

– Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

– Станный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

– Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

– Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать – и спать пора!»

Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

– Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, – начал опять один генерал.

– Как так?

– Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда наконец соки совсем не прекратятся...

– Тогда что ж?

– Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

– Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить. И вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

– «Вчера, – читал взволнованным голосом один генерал, – у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву¹ на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая», и питомец лесов кавказских – фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника...»

¹ Свидание (от фр. rendez-vous).

– Тыфу ты, Господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? – воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее: – «Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

– Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! – прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел: – «Из Вятки пишут: один из здешних старожил изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, – все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение...

– А что, ваше превосходительство, – сказал он радостно, – если бы нам найти мужика?

– То есть как же... мужика?

– Ну да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

– Гм... мужика... Но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

– Как нет мужика? Мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужчина и самым нахальным образом уклонялся от работы.

Негодование генералов предела не было.

– Спишь, лежебок! – накинудись они на него. – Небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужчина; видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стрелка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку – и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришлось даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужичьи старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами – нигде не пропадешь!»

– Довольны ли вы, господа генералы? – спрашивал между тем мужчина-лежебок.

– Довольны, любезный друг, видим твое усердие! – отвечали генералы.

– Не позволите ли теперь отдохнуть?

– Отдохни, дружок, только своей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужчина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял – и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужчину к дереву, чтоб не убежал, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужчина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

– А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? – говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

– Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

– Стало быть, и потоп был?

– И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование

допотопных зверей? Тем более, что в «Московских ведомостях» повествуют...

– А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут номер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани, – и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

– Что-то теперь делается в Подъяческой, ваше превосходительство? – спрашивал один генерал другого.

– И не говорите, ваше превосходительство! все сердце изныло! – отвечал другой генерал.

– Хорошо-то оно хорошо здесь – слова нет! а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

– Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подъяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подъяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

– А ведь мы с Подъяческой генералы! – обрадовались генералы.

– А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет или по крыше словно муха ходит – это он самый я и есть! – отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались! И выстроил он корабль – не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подъяческой.

– Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! – сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

– Будьте покойны, господа генералы, не впервой! – отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство – этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик

все гребет да гребет да кормит генералов седелками.

Вот наконец и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подъяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли – того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

1869

Дикий помещик

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядячи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды Богу этот помещик:

– Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но Бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает, – видит и опасается: «А ну, как он у меня все добро приест?»

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!»

– Одно только слово написано, – молвит глупый помещик, – а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет – сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется – сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

– Больше я нынче этими штрафами на них действую! – говорит помещик соседям своим. – Потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он

их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут – всё нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет – помещик кричит: «Моя вода!» – курица за околицу выбредет – помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух – все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к Господу Богу:

– Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый Бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик – никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: «Теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!»

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, думает, театр у себя! напишу к актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский: сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто и ставить театр и занавес поднимать некому.

– Куда же ты крестьян своих девал? – спрашивает Садовский у помещика.

– А вот Бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

– Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

– Да я уж и то сколько дней немытый хожу!

– Стало быть, шампиньоны на лице растут собранся? – сказал Садовский и с этим словом и сам уехал, и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я все гранпасьянс да гранпасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пульту-другую сыграть!»

Сказано – сделано; написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали – и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

– А оттого это, – хвастается помещик, – что

Бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

– Ах, как это хорошо! – хвалят помещика генералы. – Стало быть, теперь у вас этого холопского запаху нисколько не будет?

– Нисколько, – отвечает помещик.

Сыграли пульту, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

– Должно быть, вам, господа генералы, закусь захотелось? – спрашивает помещик.

– Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

– Что ж это такое? – спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

– А вот, закусите, чем Бог послал!

– Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

– Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня Бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

– Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? – накинулись они на него.

– Сырьем кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть...

– Однако, брат, глупый же ты помещик! – сказали генералы и, не dokonчив пультки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гранпасьянс.

– Посмотрим, – говорит, – господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз» и думает: «Ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать». И как назло, сколько раз ни разложит – все у него выходит, все выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

– Уж если, – говорит, – сама фортуна укаживает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда, довольно гранпасьянс раскладывать, пойду позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет:

«Вот тут будут груши, сливы; вот тут – персики, тут – грецкий орех!» Посмотрит в окошко – ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть! Ломятся, по щучьему велению, под грузом плодов дерева грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться – ан там уж пыли на вершок насело...

– Сенька! – крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет: – Ну, пускай себе до поры до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, – и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирать!» Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра...

– Ева, мой друг! – говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

– Сенька! – опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою. – Чем бы, однако, заняться? – спрашивает он себя. – Хоть бы лешего какого-нибудь нелегка принесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает: «Ну, этот, кажется, останется доволен!»

– Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные вдруг исчезли? – спрашивает исправник.

– А вот так и так, Бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил!

– Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

– Подати?... это они! это они сами! это их священный долг и обязанность!

– Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве,

по лицу земли рассеяны?

– Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

– А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий, существовать не может?

– Я что ж... я готов! рюмку водки... я заплачу!

– Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

– Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

– Глупый же вы, господин помещик! – молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чувствует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» – и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам и все думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?»

– Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! – говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал!»

Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, все, кажется, так и говорит: «А глупый ты, господин помещик!» Видит он, бежит через комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гранпасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышинный аппетит.

– Кшшш... – бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ

на грозное восклицание помещика и чрез мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: «Погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!»

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

– Сенька! – вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

– Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!

И вот он одичал. Хотя в это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исава, а ногти у него сделались как железные. Сморгаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рывканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит это заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, – а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

– Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? – сказал он медведю.

– Хотеть – отчего не хотеть! – отвечал мед-

ведь. – Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил!

– А почему так?

– А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каком-то человеко-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую грудю денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

– И откуда вы, шельмы, берете?!

«Что же случилось, однако, с помещиком?» – спросят меня читатели. На это я могу сказать, что, хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доньше. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

Премудрый пискарь

Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы веки² в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, – говорил старый пискарь, умирая, – коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется – везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха – в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь – и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? – что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сети, и верши, и норота, и, наконец... уду! Кажется, что может быть глупее уды? – Нитка, на нитке крючок, на крючке – червяк или муха надеты... Да и надеты-то как?... в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! – говорил он. – Потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься – ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть сколько рыбы тогда попало! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, – даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, – это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда – не знает. Видит, что у него с одного боку – щука, с другого – окунь; думает: вот-вот сейчас или та, или другой его съедят, а они – не трогают... «В ту пору не до еды, брат,

было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла – никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит – «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это – «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу – будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину – та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется – и присмирееет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи! пушай в реке порастет!» Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки – домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает...

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить – не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил, – сказал он себе, – а не то как раз пропадешь!» – и стал устраиваться. Первым делом, нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому – не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно – именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят – он будет моцион делать, а днем – станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полден, когда вся рыба уж сыта, и, Бог даст, может быть, козьявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

² Аридовы (аредовы) веки – выражение, означающее долготу.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать – да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглощает воды – и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей недосыпает, куска недоедает и все-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок – глядь, ан у него целых полпрыла из норы высунулось... Что, если б в это время щуренок поблизости был? ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, – глядит, откуда ни возмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почете что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, Господи! жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискарки в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!»

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табак не курит, за красными девушками не гоняется – только дрожит да одну думу думает: «Слава Богу! кажется, жив!»

Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить:

«Вот, кабы все так жили – то-то бы в реке тихо было!» Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется – вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет – неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава Богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет...» А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!»

Потому что, для продолжения пискарьего рода, прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того, чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались обществу, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и вырождаться в сметку.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: «Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву!» Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил – дрожал и умирал – дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто».

Он жил и дрожал – только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы – может быть, как и он, пискари, – и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: «Дай-ка спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?» Плынут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что всего обиднее: не слышать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылюю свою жизнь бережет?» А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забывать-ся уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось – щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, – свидетелей этому делу не было. Скорее всего – сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и премудрого?

1883

Самоотверженный заяц

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Зайныка! остановись, миленький!» А заяц не только не

остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помирую!»

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает: «Через столько-то суток и часов смерть должна прийти». Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьи скажет, и оба залягутся: «Ха-ха!» И волчата тут же за ними увяжутся; играючи, к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат... А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет, чай, его теперь невеста, думает: «Изменил мне косой!» А может быть, подождала-подождала, да и с другим... слюбилась... А может быть и так: играла, бедняжка, в кустах, а тут ее волк... и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего – куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегают, к его зайчихе в гости ходит... Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается – ан это невестин брат.

– Невеста-то твоя помирает, – говорит. – Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и думает: «Неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!»

Слушал эти слова осужденный, и сердце его на части разрывалось. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пушал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности – неужто ж

за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой зайньке, которая тем только и виновата, что его, косого, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую зайньку, передними лапками за ушки, и все бы миловал да по головке бы гладил.

– Бежим! – говорил между тем посланец.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прынет – и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закапталось заячье сердце.

– Не могу, – говорит, – волк не велел.

А волк между тем все видит и слышит, и потихоньку по-волчьи с волчихой перешептывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

– Бежим! – опять говорит посланец.

– Не могу! – повторяет осужденный.

– Что вы там шепчетесь, злоумышляете? – как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу – что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой зайньке и без жениха, и без братца – обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые – а перед ними и волк, и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

– Мы, ваше благородие, ничего... так, промежду себя... землячок проведать меня пришел! – лепечет осужденный, а сам так и мрет от страха.

– То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чем дело?

– Так и так, ваше благородие, – вступился тут невестин брат, – сестрица моя, а его невеста, помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

– Гм... это хорошо, что невеста жениха любит, – говорит волчиха. – Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк! отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

– Да ведь его на послезавтра есть назначено...

– Я, ваше благородие, прибегу... я мигом оборочу... у меня это... вот как Бог свят прибегу! – заспешил осужденный, и чтобы волк не сомневался, что он может мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

– Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом у себя оставил.

– Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра, – сказал он, – я его вместо тебя съем; а коли воротишься – обоих съем, а может быть... ха-ха... и помилую!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встретится – он ее «на уру» возьмет; река – он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото – он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непременно женюсь!» – ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть...

Даже птицы быстроте его удивлялись, – говорили: «Вот в „Московских ведомостях“ пишут, будто у зайцев не душа, а пар – а вон он как... улепетывает!»

Прибежал, наконец. Сколько тут радостей было – этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая зайнька, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан, и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать – это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем: не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы – всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведают.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил:

– Мне бы в баню сходить да жениться поскорее.

– Что больно к спеху зандобилось? – подшучивает над ним зайчиха-мать.

– Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову – господин. Судили тут тетки и сестрицы – и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил: не давши слова – крепись, а давши – держись! никогда во всем нашем заячьему роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косога окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

– Беспременно меня волк съест, – говорил он, – так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытии (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

– А может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!

Только его и видели.

Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сражение кипело. В третьем месте холера проявилась – надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть... А кроме того, волки, лисицы, совы – на каждом шагу так и стерегут.

Умен был косой; зараньше так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи; ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит, глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон еще сколько бежать осталось! И все-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: «Через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит!» Вспомнит он об этом – и еще шибче припустит. Ни горы, ни доли, ни леса, ни болота – все ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахнуло. И вдруг все кругом затихло, словно помертвело. А косой все бежит и все одну думу думает: «Неужто ж я друга не выручу?!»

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг – пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы дневные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шепот пошел, слышнее, слышнее... А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!»

Но вот наконец гора. За этой горой – болото и в нем – волчье логово... Опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы... вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения... неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним как на блюдечке. Где-то вдали, на колокольне, бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разорвать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.

– Здесь я! здесь! – крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

– Вижу, – сказал он, – что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите, до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!

1883

Медведь на воеводстве

Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими и в качестве таковых заносятся на скрижали Истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными, и не только Историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.

I. ТОПТЫГИН 1-Й

Топтыгин 1-й отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать; следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало

на скрижали Истории попасть желал и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чем бы с ним ни заговорили – об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли – он всё на одно поворачивал: «Кровопролитиев... кровопролитиев... вот чего нужно!»

За это Лев произвел его в майорский чин и, в виде временной меры, послал в дальний лес, вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять.

Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери – рыскали, птицы – летали, насекомые – ползали; а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот уж приедет майор, – говорили они, – засыплет он нам – тогда мы и узнаем, как Кузькину тещу зовут!»

И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый Михайлов день, и сейчас же решил: «Быть назавтра кровопролитию». Что заставило его принять такое решение – неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина.

И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал.

Дело в том, что, в ожидании кровопролития, задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел, а под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь Чижику. Особенный это был Чижик, умный: и ведро таскать умел, и спеть, по нужде, за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили: «Увидите, что наш Чижик со временем поноску носить будет!» Даже до Льва об его уме слух дошел, и не раз он Ослу говаривал (Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл): «Хоть одним бы ухом послушал, как Чижик у меня в когтях петь будет!»

Но как ни умен был Чижик, а тут не догадлся. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает, и думает: «Бесспорно это должен быть внутренний супостат!»

– Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? – рывкнул он наконец.

Улететь бы Чижику надо, а он и тут не дога-

дался. Сидит себе да дивится: чурбан заговорил! Ну, натурально, майор не стерпел: сгреб грубияна в лапу да, не рассмотревши с похмелья, взял и съел.

Съесть-то съел, да, съевши, спохватился: «Что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось?» Думал-думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел – только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что, ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная.

– Зачем я его съел? – допрашивал сам себя Топтыгин. – Меня Лев, посылая сюда, предупреждал: «Делай знатные дела, от бездельных же стерегись!» – а я, с первого же шага, чижей глотать вздумал! Ну, да ничего! первый блин всегда комом! Хорошо, что, по раннему времени, никто дурачества моего не видал.

Увы! не знал, видно, Топтыгин, что, в сфере административной деятельности, первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии...

И точно: не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит:

– Дурак! его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он Чижику съел!

Взбеленный майор; полез за скворцом на березу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь – на другую, а скворка – опять на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась:

– Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижику съел!

Он – за вороной, ан из-за куста зайчика выпрыгнул:

– Бурбон стоеросовый! Чижику съел!

Комар из-за тридевять земель прилетел:

– *Risum teneatis, amici?*³ Чижику съел!

Лягушка в болоте квакнула:

– Олух царя небесного! Чижику съел!

Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычет майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и всё мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Топтыгин-майор Чижику съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы

³ Возможно ли не рассмеяться, друзья? (лат.)

ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он на-тко что сделал! И куда ни направит Михайло Иванович свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: «Дурень ты, дурень! Чижика съел!»

Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок – так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако все-таки кой-как отбоярился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он – слушай! Филин, уж на что глупая птица, а и тот, наслушавшись от других, по ночам ухает: «Дурак! Чижика съел!»

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умалывается. Того гляди и в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех подымут!

Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица Чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил! Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: «Ваше степенство! вы – наши отцы, мы – ваши дети!» Все знали, что сам Осел за него перед Львом предстательствует, а уж если Осел кого ценит – стало быть, он того стоит. И вот, благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке, всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: «Дурак! Чижика съел!» Все равно как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел... Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства – это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История... Но... Чижик! скажите на милость! Чижик! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» – крикнули хором воробьи, ежи и лягушки.

Сначала о поступке Топтыгина говорили с неодобрением (за родную трущобу стыдно); потом стали дразниться; сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес.

– Так вот оно, общественное-то мнение что

значит! – тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло. – А потом, пожалуй, и на скрижали Истории попадешь... с Чижиком!

А История такое большое дело, что и Топтыгин, при упоминании об ней, задумывался. Сам по себе он знал об ней очень смутно, но от Осла слышал, что даже Лев ее боится: «Не хорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть!» История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он, для начала, стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полесовщика по бревну раскатал – ну, тогда История... а впрочем, наплевать бы тогда на Историю! Главное, Осел бы тогда ему лестное письмо написал! А теперь, смотрите-ка! – съел Чижика и тем себя воспрославил! Из-за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел – и первым делом Чижика съел... ах! Мальчишки на школьных скамьях будут знать! И дикий тунгуз, и сын степей калмык – все будут говорить: «Майора Топтыгина послали супостата покорить, а он, вместо того, Чижика съел!» Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят! До сих пор их майорскими детьми величали, а напередки проходу им школяры не дадут, будут кричать: «Чижика съел! Чижика съел!» Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтоб такую пакость загладить! сколько народу ограбить, разорить, загубить!

Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых!

Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, все об одном думает: «Ах, что-то Осел об моей майорской проказе скажет!»

И вдруг, словно сон в руку, предписание от Осла: «До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а Чижика съели – правда ли?»

Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного: «Дурак! Чижика съел!» Но частным образом Осел дал виноватому знать (Медведь-то ему кадочку с медом в презент при рапорте отослал): «Непременно вам нужно особое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить...»

– Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю! – молвил Михайло Иванович и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать, да кстати целый лес основ выворотил. Наконец, забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил.

Сделавши все это, сел, сукин сын, на корточках и ждет поощрения.

Однако ожидания его не сбылись.

Хотя Осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственноручно на Ословом докладе сбоку нацарапал: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижика сиел!»

И приказал отчислить его по инфантерии.

Так и остался Топтыгин 1-й майором навек. А если б он прямо с типографий начал – быть бы ему теперь генералом.

II. ТОПТЫГИН 2-Й

Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину.

В то самое время, когда Топтыгин 1-й отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому, еще до получения прогонных денег, он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство.

Тем не менее карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главным образом, он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осел ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет; хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда – вон под той сосной – казенный ручной станок, который лесные куранты⁴ тискал, но еще при Магницком этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся

ся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре, не переставая, пишет «Историю лесной трущобы», но и эту кору, по мере начертания на ней письмен, точили и растаскивали воры-муравьи. И, таким образом, лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен.

Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать («*similia similibus curantur*»⁵), но получил в ответ, что Магницкий, волею Божией, помре.

Нечего делать, потужил Топтыгин 2-й, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением, погубить нельзя, – сказал он себе, – стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

Сказано – сделано. Выбрал он ночь потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди, лошадь задрал, корову, свинью, пару овец, и хоть знает, негодяй, что уж в лоск мужичка разорил, а все ему мало кажется. «Постой, – говорит, – я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с сумой по миру пуцую!» И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми да и провалилась. Повис майор на воздухе; видит, что неминуемое дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.

Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернулся – кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят. А посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков.

– Ишь, анафема! перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А ну-тко-то, братцы, уважим его!

Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и

⁴ Газеты (от голл. *courant*).

⁵ «Подобное подобным излечивается» (лат.).

уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы.

Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодеяния могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодеяния срамные.

Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная История, присовокупив, для вящей вразумительности, что принятое в исторических руководствах (для средних учебных заведений издаваемых) подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда и что отныне всем вообще злодеяниям, каковы бы ни были их размеры, присвоается наименование «срамных».

По докладу о сем Осла, Лев собственноручно на оном нацарапал так: «О приговоре Истории дать знать майору Топтыгину 3-му: пускай изворачивается».

III. ТОПТЫГИН 3-Й

Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое! – сказал он себе, прочитав резолюцию Льва. – Мало напакостишь – поднимут на смех; много напакостишь – на рогатину поднимут... Полно, ехать ли уж?»

Спрашивал он рапортом у Осла: «Ежели-де ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?» – но Осел ответил уклончиво: «Все-де нужные по сему предмету указания вы найдете в Лесном уставе». Заглянул он в Лесной устав, но там обо всем говорилось: и о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях – молчок! И затем, на все его дальнейшие докуки и настояния, осел отвечал с одинаковою загадочностью: «Действуйте по пристойности!»

– Вот до какого мы времени дожили! – роптал Топтыгин 3-й. – Чин на тебя большой накладывают, а какими злодеяниями его подтвердить – не указывают!

И опять мелькнуло у него в голове: «Полно, ехать ли?» – и если б не вспомнилось, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы!

Прибыл он в трущобу на своих на двоих – очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег.

Лежит и думает: «Даже с зайца шкуру содрать нельзя – и то, пожалуй, за злодеяние сочтут! И кто сочтет? добро бы Лев или Осел – это бы куда ни шло! – а то мужики какие-то. Да Историю еще какую-то нашли – вот уж подлинно исто-ри-я!!» Хохочет Топтыгин в берлоге, про Историю вспоминая, а на сердце у него жутко: чует он, что сам Лев Истории боится... Как тут будешь лесную сволочь подтягивать – и ума приложить не может. Спрашивают с него много, а разбойничать не велят! В какую бы сторону он ни устремился, только что разбежится – стой, погоди! не в свое место заехал! Везде «права» завелись. Даже у белки, и у той нынче права! Дробину тебе в нос – вот какие твои права! У них – права, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящих нет – просто пустое место! Они – друг друга поедом едят, а он – задрать никого не смеет! На что похоже! А все Осел! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла дивия быстра соделал? узы ему кто разрешил?» – вот об чем нужно бы ему всечасно помнить, а он об «правах» мычит! «Действуйте по пристойности!» – ах!

Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе «по пристойности» заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавши его рев, только молвила: «Чу, Мишка ревет! гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин 3-й опять в берлогу...

Но повторяю: он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься.

И додумался.

Дело в том, что, покуда он лежал, в лесу все само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы исстари заведенный порядок (хотя бы и неблагоприятный) от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодеяния устраивать, а довольствоваться злодеяниями «натуральными». Ежели исстари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ошипывают, то хотя в таком «порядке» ниче-

го благополучного нет, но так как это все-таки «порядок» – стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что «порядок» не выходит из определенных ему искони границ. Неужели и этих «натуральных» злодейств недостаточно?

В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие – победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения – все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютomu, рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще «под личною вашего степенства ответственностью».

Таким образом, перед умственным взором Топтыгина 3-го вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды, в дружеской беседе, Осел говорил:

– Об каких это вы всё злодействах допрашиваете? Главное в нашем ремесле – это: *laissez passer, laissez faire!*⁶ Или, по-русски выражаясь: «Дурак на дураке сидит и дураком погоняет!» Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой делается, и все у вас будет обстоять благополучно!

Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится.

– Я даже не понимаю, зачем воевод посылают! ведь и без них... – слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль: ничего, ничего, молчание...

С этими словами он перевернулся на другой бок и решил выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем все пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал.

Таким образом пролежал Топтыгин 3-й в бер-

логе многие годы. И так как неблагополучные, но возжеленные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были и так как никаких при этом злодейств, кроме «натуральных», не производилось, то и Лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники и наконец...

Но тут явились в трущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

1884

Орел-меценат

Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И статьи у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полет величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит, либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городского, то непременно сравнивают его с орлом. «Подобно орлу, говорят, городской бляха № такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав, – простил».

Я сам очень долго этим панегирикам верил. Думал: «Ведь, в самом деле, красиво! Выхватил... простил! Простил?!» – вот что в особенности пленяло. «Кого простил? – мышь!! Что такое мышь?!» И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, и затем его начинало тошнить стихами.

Но однажды меня осенила мысль. «С чего же, однако, орел „простил“ мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и... простил! Почему он „простил“ мышь, а не мышь „простила“ его?»

Дальше – больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орел мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орел «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И, в-третьих, наконец, будь он хоть орел, хоть архиорел, все-таки он – птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городского может быть лестно только по недоразумению. И теперь я думаю об орлах так: «Орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так

⁶ Позволять, не мешать! (фр.)

как они, в то же время, сильны, дальнозорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что, при появлении их, все пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют».

Выискался, однако ж, орел, которому опостылело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице:

– Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце – инда одуреешь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припеваючи. Вороны бы сплетни ему переносили, попугаи – кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы – величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал-думал, да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им:

– Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало; она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и все.

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму ворон. Нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы. Ворона – птица плодущая и на все согласная. Главным же образом, тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать. Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-думали, что бы такое было, и наконец догадались: во всех

дворнях полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех ни других.

Три птицы, в особенности, считали этот пропуск для себя обидным: снегирь, дятел и соловей.

Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать, без предварительной цензуры, газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснется – ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется – ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в головку тук да тук. Вот он и замыслил: «Пойду в дворню к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать!»

Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запоем, как и все серьезные ученые, пьет), но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем Баба-Яга», «Каким полом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому и он надумал: «Пойду к орлу в дворовые историографы! авось-либо он вороньим изживением исследования мои отпечатает!»

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолубив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоять... Думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать...

Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: «Доложи да доложи!»

Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точеные камешки, глянец на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни Бабой-Ягой, ни

ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слышал: что эта птица – малая, не стоит из-за нее клюв марать.

– Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? – спросил сокол.

– Какой такой Бонапарт?

– То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо гости приедут, разговаривать будут. Скажут: «При Бонапарте это было», – а ты будешь глазами хлопать. Не хорошо.

Призвали на совет сову, – и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворянх заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Учение – свет, а неученье – тьма. Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «Летело стадо гусей» – ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали, – значит, пользу в том видели. Вон чижик: только и науки у него, что ведро с водой таскать умеет, а какие деньги за этакое-то платят!

– Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: «Ловок орел, а простофиля».

– Что ж, я не прочь от наук! – цыкнул орел.

Сказано – сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают», коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи – новые кунштюки выдумывали. С ворон определили новый налог, под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей – академию де сиянс, да кстати уж и вороньятам купили по экземпляру азбукочепейки. И, в заключение, самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского, и отдали ему приказ, чтоб на завтра же был готов к состязанию с соловьем.

И вот вождественный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.

Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина

забалушки много, а холопу за барином горяшка нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, – а орел подтвердил: «Имянно!» Наконец снегирь надоел.

– Следующий! – цыкнул орел.

Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел, а орел с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде от папеньки слышал». «Было у солнца, – говорил дятел, – трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орел. Акула была распутная – ее за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся – его отец владыкою над пустыней сделал; а Орелко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил – воздушные пространства ему во владенье отвел».

Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолбить, как уже орел в нетерпении кричал:

– Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что Бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают... Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел – не понимает орел, да и шабаш!

– Что этот дуралей бормочет! – крикнул он наконец. – Позвать Тредьяковского!

А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: «Имянно! имянно! имянно!» И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: «Убрать негодяя!»

На этом честолубивые попытки соловья и закончились. Живо запрятали его в куролеску и продали в Зарядье, в трактир «Расставанье друзей», где и о сю пору он напояет сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения все-таки не было покинуто. Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину

буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших». Но снегирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год вместо «Орел» подписывался «Арер», так что ни один солидный заимодавец векселей с такою подписью не принимал. Но еще большая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: «Бб... зз... хх...», а сокол тоже ежеминутно внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

– Украл ты десять гусенков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел – сколько в запасе осталось? – с укоризною спрашивал сокол.

Орел не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлице: «Изведут они кормильца нашего, заучат!», а орлица начала орла дразнить: «Ученый! ученый!», затем общими силами возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: «Вв... зз... рrrrr...»

– Уйди, постылая! – кротко огрызнулся орел.

– Извольте, ваше степенство, повторить: бб... кк... мм...

– Второй раз говорю: уйди!

– Пп... хх... шш...

В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое.

А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

– Вот тебе задача, – сказал он, – награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну тебе, другую – всем прочим челядинцам, – сколько на твою долю достанется?

– Всё, – отвечал орел.

– Ты говори дело, – возразил сокол. – Ежели бы «всё», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «все», а холоп осмелится возражать: «Не все». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приемы от крамолы отличать не умеют. Так он и поступил.

Но, покончивши с соколом, орел, однако, оговорился:

– А де сиянс академии оставаться по-прежнему!

Опять пропели скворцы: «Науки юношей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества, с своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смуту.

Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего золотого века не осталось и следов. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобока воровала без просыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченную.

Чтоб оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки, де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживем... И в доказательство, что весь вред от наук идет, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часослов да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища...

– Шабаш! – вдруг раздалось в вышине.

Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое.

Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но

она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

– Знаки препинания ставить умеешь?

– Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как то: кавычки, тире, скобки – всегда, по сущей совести, становлю.

– А женский пол от мужеского отличить можешь?

– Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, помри.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сычи и филины защищались твердо: жалко им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу увертки их опровергнул, спросив: «Да сиянсы-то зачем?» И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

В это же самое время отобрали у воронят азбуку-копейку, истолкли оную в ступе и из полученной массы наделали игральных карт.

Дальше – больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи... Даже глухого тетерева заподозрили в «образе мыслей» на том основании, что он днем молчит, а ночью спит...

Дворня опустела. Остались орел с орлицей, и при них ястреб да коршун. А вдали – масса воронья, которое бессовестно плодилось. И чем больше плодилось, тем больше накапливалось на нем недоимок.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (воронье в счет не полагалось), стали изводить друг друга. И все на почве наук. Ястреб донес, что коршун, по секрету, читает часослов, а коршун съебедничал, что у ястреба в дупле «Новейший песенник» спрятан.

Орел смутился...

Но тут уж сама История ускорила свое течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, вороны вдруг спохватились: «А что бишь на этот счет в азбуке-копейке сказано?» И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погнался за ними орел, да не тут-то было:

сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

– Сие да послужит орлам уроком!

Но что означало в данном случае слово «урок»: то ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе – об этом он умолчал.

1884

Карась-идеалист

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ерш под выражением «слукавить» – неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

– Но ведь это подлость!

На что ерш возражал:

– Вот уж увидишь!

Карась – рыба смиренная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит он больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей, по преимуществу, сетью или неводом; но, чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, — не знаю; знаю только, что однажды, сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирает карась.

— Не верю, — говорил он, — чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспевание, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно делается общим достоянием!

— Дожидайся! — иронизировал ерш.

Ерш спорил отрывисто и беспокойно. Это — рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у нее на сердце... ах накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития она повсюду распря видит; вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождусь! — отзывался карась. — И не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустраняемыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!

— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?

— Каких таких щук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: «На то щука в море, чтоб карась не дремал», то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс⁷ и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

— Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи решать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвояси; но, спустя малое время, собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добро играет, — разглагольствовал карась, — зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается.

— Держи карман!

— Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман»! разве это ответ?

— Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты — вот тебе и сказ весь!

— Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущей силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История — это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены? — подтрунивал ерш.

— Не посрамлены еще, но будут посрамлены — это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть, — и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем; а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли — в Урале, сказывают, во время багрения, вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы, да верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

— А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть?

— В какую такую уху? — удивлялся карась.

— Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об

⁷ Никсы — в немецких народных верованиях — русалки.

ухе не слышал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь что-бы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь... заколю!

Ерш ошетинился, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

– Намеднись в нашу заводь щука заглядывала, – объявлял ерш.

– Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

– Она. Приплыла, заглянула, молвила: «Чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?» И с этим уплыла.

– Что же мне теперича делать?

– Изготавливаться – только и всего. Ужо, как приплывет она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!

– Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват...

– Глуп ты – вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!

– Не может такого закона быть! – искренно возмущался карась. – И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.

– Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторю: фофан! фофан! фофан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое.

– Вот кабы все рыбы между собой согласились... – загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала оторопь. «О чем это фофан речь заводит? – думалось ему. – Того гляди, провретя, а тут головель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам знай прислушивается».

– А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет! – убеждал он карася. – Не для чего пасть-то разевать: можно и шепотком, что нужно, сказать.

– Не хочу я шептаться, – продолжал карась

невозмутимо, – а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...

Но тут ерш грубо прерывал своего друга.

– С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! – кричал он на карася и, наостривши лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не предаст – в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки, того гляди, не понимая, сболтнет! А об головлях, язях, линиях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадет!

– Посмотри ты на себя, – говорил он карасю, – ну какую ты, не ровен час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот – чутошный. Даже чешуя на тебе – и та не серьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости – как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

– Да за что же меня есть, коли я не провинился? – по-прежнему упорствовал карась.

– Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется – только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: «Вот кабы все рыбы между собой согласились...»? А что, если бы ракушки между собой согласились – сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

– Но ракушки – ведь это... – пробормотал он смущенно.

– Ракушки – ракушки, а караси – караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями – щуки. И ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты, а и те, и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.

(Продолжение смотрите на странице 41.)

Журнал в журнале 1 / 2026

БОЛЬШАЯ ТЕРЕМЕНА



Тук-тук-тук

Однажды сидела я дома одна: мама на работе, брат в институте. Все было спокойно, тихо. И вдруг я услышала какой-то стук: стучали как будто в дверь. Я отложила книгу и пошла посмотреть, кто стучит.

За дверью никого не оказалось.

«Странно!» – подумала я. И снова взялась за книгу.

И тут же опять: тук-тук-тук.

Я испугалась. Моя фантазия стала представлять многих, кто бы мог так стучать...

Но я взяла себя в руки и решила выйти на улицу, чтобы посмотреть – может, там найдется «стучатель».

Вышла за дверь, посмотрела по сторонам – и увидела...

Как вы думаете, что?

Не что, а кого!

Ворону!

Она стучала – нет! даже долбила по кормушке.

Не знаю, зачем она это делала: может быть, ей не хватало корма. Хотя его в кормушке было предостаточно!

Тогда я намекнула ей на корм: мол, его много, на обед тебе хватит.

Вот только после этого она стала спокойно клевать семечки.

А может быть, вороне было скучно?

Или она хотела со мной поздороваться?

Виктория ИГОШИНА,
12 лет, г. Киров

Только присмотритесь...

Вот лежит камушек. С виду обычный, ничем не отличающийся от других камней. Но что-то в нем есть загадочное.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ «ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДЫ»!

Мы рады получать от вас послания, в которых вы пишете обо всем, что вас волнует, радует, вдохновляет!

Вы пишете о проблемах в школе и семье, о взаимоотношениях с одноклассниками и друзьями, о любимой музыке и своих хобби... Страницы «Путеводки» всегда открыты для умных размышлений, поиска, желания сделать жизнь интересней и лучше.

**Ждем ваших писем по адресу:
przv@detfond.org**

Вот он лежит в тени, и его цвет – серый с коричневыми полосками, вроде все обычно. Но если камушек перенести на свет, то он будет блестеть и переливаться разными красками от лучей яркого солнца.

Все любят бросать камни в воду, например, кто дальше? А вы разглядывали камни под водой? Они приобретают другие оттенки: светлее или темнее. И медленно опускаются на дно после касания с водой. Если камень долго находится в воде, то он покрывается тиной, которая становится новым его узором на некоторое время.

Камни можно найти везде: в лесу, в полях, в реке и у себя во

Хочу

дворе. И все они необычные, особенные и загадочные. Надо просто присмотреться и увидеть все скрытые их красоты.

Софья ШЕСТУХИНА,
12 лет, Самарская область

Медвежья лапа на улице Ярославля

Мы приехали в Ярославль. И первым делом начали обустраиваться в квартире, которую сняли. Угадайте, что первое там увидели? Искусственный кактус!..

Потом мы поужинали и легли спать.

На следующий день проснулись очень рано и пошли на экскурсию. Нам рассказывали, что в Ярославле очень много храмов и музеев. И мы ими от души налюбовались. После экскурсии мы отправились гулять. Ходили на реку Волгу. Катались на буере (это такой кораблик на подушках, который ездит по льду). И дрифтили!

Вечером мы с папой и братом Лешей пошли гулять, а в это время мама нам готовила новогодний квест. Она спрятала подарки и в разных местах разложила бумажки с подсказками. Когда мы вернулись, мама стала читать нам задания-загадки, а мы пытались найти на них ответы. На самой последней бумажке было написано задание найти уют. И мы нашли его в шкафу-

СКАЗАТЬ!

чике. Там же были подарки! Леше – пенал в виде беспроводных наушников, а мне – майка, юбочка и шарик со «снегом». Это было замечательно!

Ярославль – очень красивый город. Мы накупили много интересных сувениров. И еще там очень много «медвежьих троп». Что это такое? В Ярославле есть улицы, на которых есть «медвежьи следы», ведущие по особым маршрутам. И вообще в городе много изображений медведей. Один сидел с яблоком, другой стоял на скале... Медведь украшает даже герб Ярославля!

Рано утром мы встали, немного погуляли и поехали. Сначала Лешу отвезли в спортивный лагерь. А потом поехали в гости, на подмосковную дачу к друзьям. Так что приключения продолжались. Было очень холодно, поэтому по большей части мы сидели в доме. Но все же прогулялись, дошли до пруда. Там есть горка, с которой можно скатываться и выезжать на лед. Мы попробовали, но ледянки до льда не доезжали. И хорошо.

Настя МОРЕВА,
9 лет, г. Москва

Вкусное путешествие

В этом году я побывал в городе Коломне. Там я ходил в разные музеи. Вот некоторые из них: музей трамвая, музей калачей, музей патефонов и даже музей игрушек! Еще в Коломне делают потрясающе

вкусную пастилу и есть целый музей пастилы!

Все музеи очень интересны, но больше всего мне понравились музей калачей и музей игрушек. А также музей пастилы. В музее калачей было классное представление (рассказ об истории калача) и вкусные калачи с маслом и чаем. В музее пастилы был интересный и веселый рассказ, и тоже чаепитие с очень вкусной пастилой. А в музее игрушек была очень интересная экскурсия, а также игрушки, в которые можно играть.

Тимофей ТУТУКИН,
10 лет, г. Москва

Посмотришь – и грустно станет!

В последнее время выходит огромное количество фильмов и сериалов. Но из них так мало таких кинолент, которые хотелось бы обсуждать и пересматривать.

Чего я совсем не могу понять: зачем-то переснимают мультфильмы в стиле хоррор. Смотрела я в детстве милый и смешной мультфильм про Винни-Пуха, даже игрушки, сделанные по нему, у меня были... А теперь вышел про Винни страшный фильм. Слышала, что и про Питера Пена тоже сделают ужастик. Зачем?..

Скажу честно: хоррор про Винни-Пуха я не смотрела. Да, возможно, он хорошо снят, возможно, там хорошие актеры...

Но почему милая, добрая детская сказка должна быть превращена в какую-то жуть? Взяли бы оригинальный сюжет и снимали!

Кстати, а вы не задумывались, для чего нужны сказки и мультики? Я всегда думала, что их цель – учить настойчивости, трудолюбию, щедрости, доброте... А чему могут научить сделанные из сказок ужастики?

Неужели мы будем вспоминать Винни-Пуха не как классного и смешного сказочного персонажа, а как героя мрачного фильма про убийства?.. Грустно!

Екатерина ОВЕРЧУК,
творческое объединение детей
и взрослых «Люди на верблюде»,
г. Москва

Снежные добряки

Однажды мы с мамой гуляли по улице Спасской. И увидели снеговиков. Они были добрые, веселые, приветливые. Всем дарили большие леденцы.

А потом приехал Дед Мороз. Снеговики сели в его карету и отправились в путь.

И тут начался салют!!!

Снеговики махали снежными руками и улыбались. Карета промчалась вокруг Театральной площади – и вспыхнула огнями елка-красавица.

Это был восторг!

Иван САМЫЛОВ,
Центр олимпиадной
подготовки «Шмель», г. Киров

У верблюда два горба, потому что **ЖИЗНЬ – борьба**



На вопросы наших читателей
отвечает журналист
Любовь КОЖЕВНИКОВА

Дорогая Алиса! Это непростая ситуация, и твои чувства вполне понятны. К сожалению, опыт конкуренции в свое время приходится пройти каждому человеку. Вот несколько шагов, которые могут помочь справиться с проблемой:

1 Если тебя действительно достают слишком агрессивно, твоя задача – стать неинтересной мишенью. Запомни – издеваются только над тем, кто реагирует слишком бурно. Значит, твоя задача – быть спокойной и невозмутимой, не терять силы духа и уважения к себе. Постарайся игнорировать негативные высказывания и действия одноклассников. Чем меньше реакции ты будешь показывать, тем быстрее они потеряют интерес к этому занятию.

Если кто-то говорит совсем уж грубые вещи, вроде: «Да что он в тебе нашел. Посмотри на себя, с тобой совершенно невозможно общаться!», отвечай: «Может быть» – и спокойно занимайся своими делами, поддерживая уважительное общение с теми, кто не занимается травлей. «Почему ты такая странная?» – «Не знаю». И так далее. Тем самым ты не тратишь энергию на лишние непродуктивные споры и показываешь, что твоя ценность не зависит от мнения других людей.

2 Тем не менее не забывай – сейчас тебе плохо, и ты можешь видеть врагов во всех, но все вокруг не могут быть врагами. Наверняка в классе есть хотя бы один человек, который не поддерживает общей травли, – именно так и познаются друзья. Будь открытой и дружелюбной.

Продолжай общаться с одноклассниками вежливо и уважительно. Покажи, что ты сама готова дружить и поддерживать хорошие отношения, – разумеется, издеваться над собой нельзя позволять, но не отталкивай тех, кто захочет тебя поддержать.

“
Мне нравится один мальчик, и одной девочке из моего класса он тоже нравится. Он оказывает знаки внимания мне. А она решила мне отомстить и настроила класс против меня. Девочки шушукаются за моей спиной, вредничают, обзывают. Мне и жалко ее, но и все это очень неприятно. Что делать?

Алиса, 14 лет.

3 Займись хобби и увлечениями. Найди занятия, которые приносят радость и помогают отвлечься от негативных эмоций. Это может быть спорт, музыка, рисование или любое другое увлечение. Не забывай: даже если ты переживаешь тяжелые времена, ты остаешься личностью, ценной и важной, даже если тебе плохо, больно и одиноко, даже если ты



совершаешь ошибки. Ни в коем случае и никогда не забывай о том, что делает тебя тобой.

4 Поддерживай позитивные отношения с друзьями. Проведи больше времени с теми, кто тебя понимает и ценит.

5 Разберись в своих чувствах. Попробуй разобратся, почему тебе жалко соперницу. Может быть, у нее тоже есть проблемы, о которых ты не знаешь. Попробуй проявить сочувствие, но не позволяй ей манипулировать тобой. Разумеется,

вы не обязаны дружить. Но вы обе личности. И «рубиться насмерть» ради другого человека тоже вовсе не обязаны. Вы обе достойны уважения, и у вас есть чувство собственного достоинства. Не теряйте его. Попробуйте понять друг друга как личности. Может быть, вы даже можете друг у друга чему-то поучиться. К примеру, гибкости, или же наоборот, прямого чувств. Соперничать часто начинают люди, которые друг другу полные противоположности. Это тоже важный опыт, который можно и нужно прожить достойно. Вы состязаетесь не за чужое внимание, а просто пытаетесь таким образом понять свое место под солнцем.

**...ТЫ МОЖЕШЬ ВИДЕТЬ
ВРАГОВ ВО ВСЕХ, НО ВСЕ ВО-
КРУГ НЕ МОГУТ БЫТЬ ВРАГАМИ.**

6 Самое главное – попробуй понять реакцию парня. Дает ли он понять, кто именно важен для него? Или ему просто интересно играть чужими чувствами? Конечно, решать тебе. Но по его поведению, если внимательно присмотреться, вполне можно понять его намерения и сделать вывод, к какому результату приведут его поступки. Если он неоднократно показывает, что ему важ-

на именно ты, – вряд ли тебе стоит так уж сильно переживать и принимать близко к сердцу чужое мнение. В конце концов, это твоя жизнь, а у людей много мнений, и все они разные. Но если для него это лишь

игра и манипуляция – стоит ли сражаться из-за него и наживать врагов среди тех, с кем можно если не дружить, то по крайней мере přátельствовать?

Помни, что твоя самооценка и уверенность в себе важнее мнения окружающих. Ты заслуживаешь счастья и поддержки, и важно окружить себя людьми, которые будут уважать и любить тебя такой, какая ты есть. А еще – жизнь неоднократно испытывает нас на прочность. Пока есть жизнь – есть и борьба, и испытания. Улететь от них на необитаемый остров или на другую планету – непродуктивно и вряд ли выйдет. А вот сделать правильные выводы, чтобы стать сильнее и мудрее, – именно для этого они нам и нужны.

А знаете ли вы?



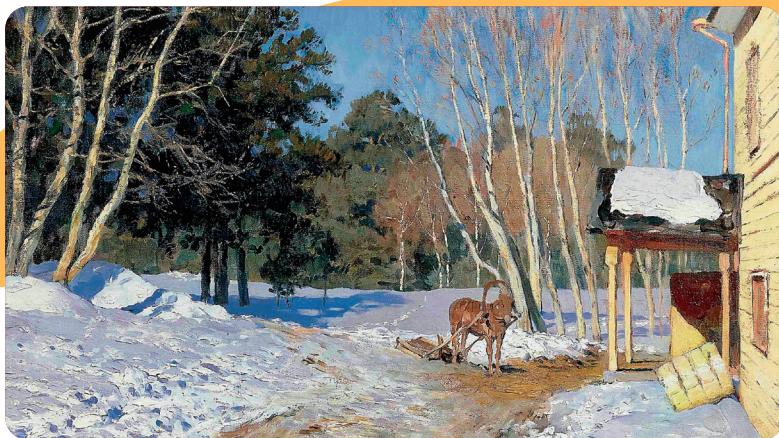
... что в русском языке значит выражение «хоть кол на голове теши»?

Обычно так говорят об очень упрямых людях, которых невозможно переубедить. Все аргументы им безразличны. Синонимом может служить «как об стенку горох». Владимир Даль в своем словаре пословиц писал: «Хоть кол на голове теши – он все свое». Но почему же именно кол? И что вообще значит «кол теши»? Дело в том, что тесать кол – это значит с помощью топора обтесывать палку, чтобы она стала острой на конце. Разумеется, невозможно не заметить, чтобы у тебя на голове «тесали кол». Настолько упрямым может быть только человек с «дубовой головой» – а это еще один фразеологизм. Многие, правда, говорят: «хоть кол на голове чеши», но так произносят только те, кто ничего не знает про тесание.

... откуда в русских сказках взялась шапка-невидимка?

Мысль о волшебном предмете, дающем хозяину невидимость, возникала в народном фольклоре по всему миру – и в европейских культурах, и в азиатских, и даже в индейских племенах. Головной убор, делающий героя невидимым, стал важным атрибутом и в русской сказке. Шапка-невидимка делает героя невидимым – то есть дает ему свойства духа, призрака. И именно поэтому помогает ему достичь цели. Согласно канону сказки, главный герой, чтобы, например, повзрослеть, должен на время перейти в другой мир – не тот, которому он принадлежит, чтобы пройти там испытания, стать взрослым и вернуться с наградой.

Образ шапки-невидимки может восходить к ритуальным атрибутам – например, в обрядах инициации (это обряд, который знаменует переход человека на новую ступень развития) головные уборы часто использовались для обозначения перехода в иное состояние.



... что одним из новаторов русской пейзажной живописи был Исаак Левитан?

Именно он воспел то, что раньше казалось недостойным больших полотен. Маленькие церквушки, покосившиеся мостики, невзрачные поля и распутица деревенских дорог стали в его исполнении настолько проникновенными пейзажами, что творчеству художника завидовали даже его преподаватели! Ну а где можно лучше полюбоваться прекрасными пейзажами Левитана, как не в Плесе, – жемчужине Ивановской области и всего Золотого кольца России? Многих художников вдохновляли виды на Волгу с высокого зеленого берега этого городка. Также в Плесе можно забраться на гору Левитана, зайти в арт-галерею и купить картину художника, прославившего этот край, а еще прогуляться по набережной Волги и даже найти дом Левитана.



Мечты заветные пока не дают...

Здравствуйте, читатели «Путеводной звезды»! Перед тем, как вы прочтаете мои стихи, скажу несколько слов о себе. Я люблю сочинять стихи и прозу. С восторгом рисую своих персонажей в диджитале.

С увлечением изучаю языки – французский, английский и китайский.

Люблю шить игрушки по шаблону. Люблю собирать конструкторы и 3D пазлы, особенно очень детальные.

Мария НОВОЖИЛОВА, 15 лет, г. Москва

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Загадочный бродит олень
В полях зазеркальной страны.
Проводит он весело день,
А ночью приходит к нам в сны.

И в той зазеркальной стране
Не встретит олень на пути
Ни дождь, ни мороз и ни снег,
Ни град, что мешает идти.

Пусть кто-то подумает, что
Он путь в зазеркалье найдет,
Что сможет он жить там легко,
И скроется там от невзгод.

В реальности все – не как
в снах.
Вокруг, кроме радости, есть
Болезни, пожары, война.
А жить нам дано только здесь.

Мы мир наш должны
сохранить,
В нем много зависит от нас.
Должны мы беречь и любить
Ту жизнь, что дана только раз.

ЧУДО

Вы слышали про котят?
Они на облаке летят,
Летят, мяукают они,
То на солнце, то в тени.

А за ними летят люди
На всеоблачном верблюде.
А внизу стоит толпа:
Она глуха, слепа, тупа.

Толпа стоит, не видит чуда,
Ни котят, ни верблюда.
И ни вздохнет, не шевельнется,
Ни от чего не пошатнется.

И летели долго люди
И котята на верблюде,
А проснулись все когда,
Оказалось, уже среда!

ЛУННАЯ ДОРОГА

Лунной ночью, когда звезды
плачут во тьме,
Когда жизни на улицах города
нет,

Я пойду по проспекту, осветив
себе путь,

Не посмев никуда свернуть.
А луна, как фонарь, сияет
И мой путь она освещает
И дает мне надежду на то,
Что не кончен мой путь.

Ни за что
Я не встану, назад не вернусь.
А кто помешает мне?

Я не боюсь
Того, что ждет меня, что будет,
Но прошлого я не забуду.



Капля в океане моего народа

Дорогие ребята!

За окном – зима, впереди – ЕГЭ, а это означает волнение, неизвестность, мысли о предстоящем поступлении и бесконечные вечера за решением пробников. Во всей этой суете мы часто забываем о самом главном – о поддержке и общении, о легких непринужденных разговорах и совместных прогулках, о том, чему мы друг друга научили и сколько друг для друга сделали. Поэтому мне очень понравилась идея написать письма, где каждый расскажет о том, чего достиг, что для него ценно и важно. Интересно, что напишете вы? О чем расскажете?



вокруг множество людей разных возрастов и национальностей, чувствуешь себя частью большого дружного народа.

Более 190 народов! Какая огромная цифра! Удивительно, как люди с различными традициями, обычаями, культурой, говорящие на разных языках, мирно живут на одной территории и считают своей Родиной Россию? Я размышляла об этом, гуляя по ВДНХ.

Невероятной красоты павильоны, огромные фонтаны, большое ко-

личество музеев... ВДНХ – это волшебное место, где можно совершить кругосветное путешествие, не покидая Москвы. Казахстан, Абхазия, Беларусь, Азербайджан, Армения... Каждый павильон – словно сказка отдельной страны, красивая, яркая, колоритная. Чудесные дворцы распахивают перед посетителями свои двери, показывая удивительную архитектуру, культуру и национальные особенности разных народов. Но знаете, что особенно впечатлило меня? Фонтан «Дружба народов». Золотые фигуры девушек ослепляют своей красотой и изяществом! Присмотревшись, я поняла, что каждая фигура олицетворяет одну из республик, входивших в состав Советского Союза. Глядя на этот фонтан, видя восхищенные взгляды окружающих людей, понимаешь, как важна крепкая связь между народами. Ведь вместе мы – сила!

В нашей стране каждый знает, что такое Сабантуй и Масленица, Ураза-байрам и Пасха, а красо-

Свою историю я хочу начать так...

Жила-была маленькая девочка по имени Настя. По вечерам, рассматривая старинную карту, она мечтала о путешествиях и приключениях. На карте были обозначены различные города, горы, моря. «Куда бы я ни поехала, я везде буду находить друзей», – думала Настя, разглядывая изгибы дорог, ведущих в неизведанное...

Так появились мечты и цели, которые всегда помогают мне двигаться вперед и развиваться.

Больше всего на свете я хотела оказаться в Москве. Многие из вас уже не раз были в столице нашей Родины, но для меня увидеть Кремль, собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому было маленькой мечтой. Однажды я прочитала фразу, в которой говорилось, что лучше не смотреть на кремлевские звезды, иначе уже не сможешь отвести глаз. Теперь я с этим полностью согласна! Все здесь поражает своей красотой и величием. На Красной площади, видя

той русского сарафана здесь восхищаются так же, как и традиционным татарским костюмом. Россия – это гармоничное сочетание национальных культур и традиций каждого народа. По-моему, это все называется одним емким и красивым словом «дружба».

Ребята, вы слышали о романе Рахмата Файзи «Его величество Человек»? Работая летом в библиотеке, я случайно увидела эту книгу. Она трогает за душу и оставляет глубокий след не только в памяти, но и в сердце. Автор рассказывает нам историю жизни обычного кузнеца Шаахмеда и его жены Мехринисы, которые совершили настоящий подвиг. Представляете, супруги приютили четырнадцать детей разных национальностей и подарили им детство! Узбекская семья стала настоящим символом дружбы народов, доброты и человечности. Читаешь такое – и становится тепло на сердце.

Я считаю, что сила страны – в единстве ее народа. На уроках истории нам рассказывали о легендарном доме Павлова, ставшем символом стойкости и мужества волгоградцев. 20 солдат удерживали натиск немецких захватчиков на протяжении 58 дней! Обычный четырехэтажный дом стал надежной крепостью, кусочком земли, куда не ступила нога врага. Пытаясь разрушить оборону здания, гитлеровцы потеряли больше солдат, чем при взятии Парижа! На защиту своей земли встали люди мирных профессий и разных национальностей. Плечом к плечу бились русские, украинцы, татары, таджики, узбеки, абхазцы. Для меня этот подвиг – настоящий символ единства наций!

Все эти события формируют историю нашей Родины. Россия испокон веков показывала себя как многонациональное, открытое к новым дружеским связям государство. В нашей стране даже учрежден государственный праздник – День народного единства. Мы многим отличаемся друг от друга – национальностью, мировоззрением, социальным положением, но самое главное, мы – граждане одной страны и готовы вместе идти к общей цели.

ли мне о том, что каждый человек, какой бы малой не казалась его роль, важен для своей страны. Только вместе, сообща мы сможем двигаться вперед и делать жизнь в нашей стране лучше с каждым днем!

Сегодня перед нами открывается множество возможностей. Например, благодаря «Движению Первых» мы можем участвовать во всевозможных проектах и форумах, постоянно развивать свои навыки, посещать Всероссийские детские центры. Но знаете, за что я люблю это Движение? За возможность своими глазами видеть всю красоту и величие России, знакомиться с ребятами из различных регионов.

Что вы видите, глядя на карту России? Множество населенных пунктов, рек, озер? Для меня карта нашей необъятной страны обретает новые краски: вместе с названием городов в голове всплывают имена и лица друзей, которые подарили мне море замечательных воспоминаний и теплых моментов. В Астрахани меня всегда ждет Андрей, с которым мы договорились вместе вернуться в «Артек». Во Владивостоке живет мой вожатый Эрхан. Каждую смену он ждет меня в ВДЦ «Океан». Таджикистан – родина Насима. Мы познакомились на смене «Культура Вдохновения» в Анапе. От него я узнала интересные особенности страны, в которой он родился. Летом мы встретились с Насимом в Москве! Приятно понимать, что дружба, зарождающаяся в лагерях, может преодолеть расстояние и время!

Ребята, может, и вы, посмотрев на карту России, увидите не просто города, а лица друзей и вспомните о приятных дружеских встречах?

«Куда бы я ни поехала, я везде буду находить друзей!» – думала маленькая девочка по имени Настя. Моя мечта сбылась. Я побывала в разных городах, подружилась с интересными людьми и поняла главное: люби место, где ты живешь, умей видеть прекрасное и тогда будешь счастлива. А настоящие друзья всегда будут рядом с тобой, независимо от того, где ты находишься.

До свидания, ребята!

**Анастасия ШАЛЫГИНА,
МОУ «Рощинская СОШ»**

**Я – безоговорочно
и бесповоротно – капля в океане
моего народа.**

Эти слова Роберта Рождественского напомни-



Рассказ

О пользе ТЯЖЕЛЫХ СУМОК

Я вывалилась из автобуса. Он недовольно фыркнул и потащился дальше. И кто догадался поставить уроки с 8:30? Что за соревнование – «Сделай жизнь старшеклассника невыносимой»! Ага, экзаменов и толпы жадных репетиторов, конечно, было недостаточно! Я так разозлилась, что не заметила светофор. Зачем его поставили прямо на моем пути? Знали же, что многие переходят дорогу по диагонали. Ладно, хоть никто не видел этого эпичного столкновения.

Недалеко от школы меня окликнули. Краем глаза заметила Седова. Он из параллельного класса, жуткий показушник. Разве может нормальный человек идти утром в школу и улыбаться? Я сделала вид, что его не слышу.

– Нина, да стой ты! – Седов удержал меня за локоть.

Я с трудом сдержалась, чтобы не двинуть ему этим локтем. Седов же весь сиял. Ну вот за что мне это с утра пораньше?

– У тебя все хорошо? – спросил Седов участливо так.

Решила не утруждать его ответом. Зачем баловать сумасшедших? Потом не отвяжется. Сме-

рила его презрительным взглядом и пошла в сторону школы.

– У тебя платье расстегнуто, – Седов засиял еще ярче.

Вот чувствовала, забыла что-то. И зачем я вообще в платье полезла? Тем более мама сказала: «Ах, тебе так идет голубой! Ты в нем такая хрупкая и нежная!». Надо было сразу снять. И я даже расстегнула молнию, потом вспомнила – любимые джинсы в стирке. А молния, похоже, так и осталась расстегнутой. Ну неудивительно, как всегда, мама во всем виновата. А мне теперь стой, красней перед Седовым. Я вздохнула.

Этот дурень потянулся к моей спине. Совсем обалдел? Быстро сунула ему в протянутые руки тяжелую сумку. А сама, как тоже не очень-то одаренная умом, запрыгала, пытаясь застегнуть молнию сзади. Не иначе как влияние Седова. С кем поведешься... В общем, я не стала задерживаться, а то последствия деградации могли бы стать необратимыми. Застегнула молнию, выхватила сумку и, буркнув «спасибо», ускорила шаг.

В случае с нормальными людьми на этом бы вся история и закончилась. Но Седова к нормальным причислить было сложно. Поэтому он догнал

меня после уроков. Осмотрел со всех сторон. И довольно кивнул. Одобрил, понимаете ли, мой вид. Ну уж этого я стерпеть не могла.

– Чего пристал?

А он еще шире заулыбался.

– Да понять не могу, почему такая красивая и такая злая.

Ну что с ним не так? Причем тут красивая? С чего он вообще это взял? Может, ему очки купить или линзы? Или умных людей бы послушал. Вот папа мой. Он так и говорил: «Ох, дочка, если б не этот твой нос... ничего, восемнадцать исполнится – поправим». Интересно, там у своей Марины, у которой он обитал, его еще беспокоил мой нос?

– Нин, чего зависла? – Седов стоял с участливым лицом.

– Ошибся ты, – крикнула я. Еще чуть-чуть и разревелась бы.

Чего он ко мне лезет со своей заботой? Всем же наплевать, что со мной. Да и ему наплевать. Так, привязался на мою голову. Я быстро пошла от него, почти побежала. Седов пару раз крикнул вдогонку «Нин», и на этом успокоился. Кто бы сомневался. Зачем ему со мной нянчиться? Зачем вообще кому-то со мной нянчиться? Папе же не надо. Разве что маме... Но она сама виновата – родила меня, пусть теперь мучается. Слезы все-таки полились.

Я повернула в сторону Тропаревского парка, день сегодня особенный – без репетиторов. Жаль, что сумка тяжелая. Наушники надевать не стала. Не хотелось заглушать мысли – просто идти и дышать. Когда я была маленькая, мы здесь гуляли все вместе. Неужели у них уже тогда были проблемы? Они выглядели такими счастливыми. Или мне только казалось.

Что сказал папа?.. «Мы с твоей мамой уже давно как добрые соседи». Ага, соседи... А мама плакала. Чего плакала-то? Наорала бы. Заявилась бы к этой Марине и... поправила бы ей нос. Или хоть как-то бы себя проявила. Но нет, сидела дома и чахла. Вот и верь после этого в любовь. Я чахнуть не собиралась.

Какой был теплый сентябрь! Листья шелестели. Вон их сколько. Огромная семья листьев, и как-то уживались вместе. Хотя тоже убегут из родного дома. Наверно, они так шумели, потому что жутко надоели друг другу за лето.

И только я расслабилась на скамейке, как ко мне подсел полоумный Седов. Он меня преследовал, что ли? Схватила за сумку.

– Нин, не убегай, пожалуйста.

Так по-нормальному сказал, без этих своих улыбок и сияний, что я даже осталась. А Седов за-

молчал. Думала, он важное что-то сказать хочет. Комары пищали, собаки гуляли, птицы пели, а мы сидели и молчали. Я первой начинать разговор не собиралась, и так одолжение сделала, что осталась.

Седов взял мою сумку:

– Погуляем?

Без сумки я почувствовала себя другой. Как будто он не сумку взял, а все мои мысли. Без них я стала пустой и легкой. Мне захотелось обогнать Седова и бежать вперед спиной. Я прыгала, обнималась с деревьями и судорожно хохотала. Седов пытался за мной угнаться. Сначала он улыбался, но потом побежал по-настоящему, и я втопила изо всех сил. Ему мешали рюкзак и сумка, мне – мой глупый хохот. Он догнал. Приобнял сзади за талию и покрутил, как маленькую. Я перестала хохотать и попыталась забрать свою тяжелую сумку.

– Давай просто по-человечески погуляем, – взмолился Седов.

Я подумала, что странный он. А потом вспомнила, что у него же три сестры. Наверное, его никакими выходками не напугаешь. И мне захотелось сказать Седову что-нибудь приятное. Например, что мне всегда нравилась его улыбка. Еще с младших классов. Эти его ямочки на щеках. Но я не сказала. Стыдно было, да и такая банальщина...

Мы прогуляли до позднего вечера. Вспоминали наши детские убежища и даже откопали клад, который он в первом классе зарыл с друзьями. Никогда не видела, чтобы человек так радовался вкладышам от жвачки.

Утром я выпрыгнула из автобуса, он весело библикнул и пошуршал дальше. На перекрестке ждал Саша.

Мария КОНДРАЦКАЯ, г. Киров
Иллюстрация создана с помощью
искусственного интеллекта



Перенявший славу

Как-то, когда мне было лет пять, шли мы с мамой по главной московской улице в сторону магазина «Детский мир», и она показала мне примечательный памятник: могучий всадник на массивном боевом коне властно простер руку над площадью. «Основателю Москвы Юрию Долгорукому», – прочитал я надпись на гранитном постаменте. «Основатель, – сообщил я, – значит, построил первые дома в нашем городе. А почему же Долгорукий? Он что, долго работал руками?» – «Скорее всего, у него были длинные руки, – рассмеялась мама. – Но потрудился этот князь в самом деле немало: основал много разных городов».

Об этом я вспомнил на окраине Переславля-Залесского, глядя на бронзовый бюст Юрия Долгорукого среди белых построек Горицкого монастыря. У князя было такое же суровое лицо, что и на московском памятнике. Дотошный историк скажет: неизвестно, как на самом деле выглядел Юрий Долгорукий, и документальных подтверждений того, что именно он основал нашу столицу нет; в летописи лишь говорится, что он принимал там гостей в 1147 году и ее обустраивал. Однако бесспорные доказательства основания Долгору-

ким многих других городов, в том числе и Переславля, в самом деле существуют.

Строительство городов требует серьезных усилий и помощи их будущим жителям, которым приходится начинать жизнь на голом месте. Долгорукий вкладывал деньги в строительство, всячески помогал переселенцам, и тому были

причины. Он долго воевал со своим племянником Изяславом Мстиславичем за главный в государстве киевский княжеский престол. Весной 1151 года, после поражения на реке Руте, лишился «отчины» – городов Переяславля и Городца Остерского в Южной Руси,

Переславль-Залесский – тихий городок в Ярославской области: храмы да огороды, озеро да речушка... А были времена, когда он входил в число крупнейших в Русском государстве, занимая почетное третье место после Киева и Смоленска. И древней славы в нем столько, что хватит на несколько крупных городов. Он дает уйму возможностей ощутить дыхание истории, увидеть и почувствовать подлинную Россию.

и отбыл на север, в Ростово-Суздальское княжество. А тут в его земли вторглись волжские булгары, грозили прийти с мечом новгородцы и смоляне. Юрий вынужден был возводить города-крепости, чтобы защититься от врагов. При этом он создавал «параллельную реальность», напоминавшую о Южной Руси: Юрьев-Польский – «двойник» Юрьева в Поднепровье, Стародуб-на-Клязьме – «родственник» Стародуба-Северского. А новый Переяславль заставлял вспомнить столицу Переяславского княжества,



Юрий Долгорукий

где правил отец Юрия – Владимир Мономах. Название происходит от имени Переяслав, означающее «перенявший, унаследовавший славу». Переяславль в Поднепровье расположился на реке Трубеж, и Переяславль Юрия Долгорукого стоит на реке, которую тоже называли Трубежем. Чтобы не путать с предшественником, городу дали имя Переяславля-Залесского. А когда спустя несколько столетий из названия пропала буква «я», его стали называть нынешним именем.

Опоясывающий город высоченный земляной вал соорудили именно в ту эпоху. Обозревая с его гребня россыпи ярких домиков, сверкающие на

солнце купола в тогдашних городских границах, убеждаешься, что первоначальные размеры Переяславля были весьма внушительны. Длина вала 2,5 километра – протяженнее в том, 1152, году были только земляные укрепления Киева и Смоленска. Юрий Долгорукий основал этот город на равнине рядом с большим озером, как будущую столицу Северо-Восточной Руси. А потом замысел Долгорукого довел до логической точки его сын – Андрей Боголюбский, который перенес «центр тяжести» государства из Киева на северо-восток страны, в эти края.

Защитник Руси

Главная площадь Переславля, где когда-то собирались городская рать и городское вече, как и в Москве, именуется Красной площадью. На самом деле это просторный луг, на котором, словно устав от водоворота событий, дремлют храмы – жемчужины древнего зодчества.

Белокаменный Спасо-Преображенский собор с зеленым шлемообразным куполом, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году, высится на лугу как воин в поле. Это единственный из пяти первых белокаменных храмов северо-восточной Руси, дошедший до нас почти в полной сохранности. Его отличают благородная чистота линий, мощные стены, строгие пропорции и изысканная простота. Войдя сюда, прикасаешься к аскетизму седой древности.

Перед храмом стоит памятник правнуку Юрия



Долгорукого Александру Невскому, который родился именно здесь, в Переславле-Залесском. По уточненным данным современных историков, произошло это в мае 1221 года. Тут его крестили, здесь, у стен Спасо-Преображенского собора, прошло его детство. Чуть ли не с младенчества Александра готовили к военным походам. В пять лет посадили на коня и стали обучать владению мечом. Отсюда новгородцы призывали Александра на княжение. В том числе в 1241-м, когда ливонцы захватили Псков и Изборск.

Музей Александра Невского – скромный домик рядом с Горицким Успенским монастырем – показывает макет Переславля XIII века, диораму Невской битвы и схему Ледового побоища, где он одержал самые известные свои победы, изображения ратников в доспехах, подлинное оружие того времени и многое другое. Здесь можно узнать подробности драматичной жизни этого человека, который прославился как политик, дипломат и полководец. Александр не проиграл ни одного своего сражения.

Он жил в тяжелое время – с запада на Русь наступали ливонцы, немецкие рыцари, с востока обрушилась монгольская конница. Некоторые историки упрекают Александра в том, что он вступил в союз с монголами. Другие исследователи доказывают, что князь трезво оценивал собственные силы и мощь завоевателей, поэтому понимал, что в тот момент противостоять им Русь еще не готова. И в рамках своих возможностей делал многое для того, чтобы сохранить на русской земле народ и христианскую веру.

Своему сыну Даниилу Александр отдал в удел Москву. Тот стал первым московским князем и

сделал свое княжество одним из самых сильных на Руси, что предопределило впоследствии его возвышение. А праправнук Александра Невского князь Дмитрий Донской одержал победу над ордынцами на Куликовом поле, тем самым положив начало объединению народа и его духовному взлету.

Переславская Венеция

После того как Русь покончила с чужеземным игом, город превратился в излюбленное место для поездок князей и царей на богомолье. Тут строили каменные храмы и монастыри, один другого краше. Нынешний Переславль богат церковной стариной. На той же Красной площади, например, помимо Спасо-Преображенского есть еще и величественный собор Владимирской иконы Божьей матери, и церковь Александра Невского XVIII века, и шатровая церковь Петра Митрополита, памятник архитектуры XVI века, напоминающая храм Вознесения в Коломенском.

Впрочем, дух старины пронизывает весь город. Помимо девяти храмов и пяти монастырей в нем радуют глаз разнообразием и красотой уютные каменные и деревянные особняки прошлых столетий.

Когда выходишь за обозначенную валом границу древнего города, на берег неширокой реки Трубеж, оказываешься в колоритном месте – Рыбной слободе, которую туристы окрестили «Переславской Венецией». У деревянных невысоких домов вдоль берега Трубежа то и дело встречаются причалы и лодки. В погожие летние дни по реке плотным потоком плывут каноэ, катамараны и

прогулочные катера. Трубеж выводит к уютной набережной с фонарями и лавочками, красивыми видами на Плещеево озеро, где скользят лодки всевозможных видов и расцветок.

В широченном Плещеевом озере издавна водились караси, налим, плотва, ерши, лещи, щуки. Но особенно ценилась ряпушка – рыбка с необыкновенным вкусом. Жители Рыбной слободы ловили ее в озере и доставляли этот деликатес в Москву. Как изысканное блюдо ее ставили и на царский стол, и на боярский, и на архиерейский. Недаром изображена она и на городском гербе. Ее и сегодня можно попробовать в жареном и запеченном видах в городских ресторанах и кафе.

Уцелевшая «Фортуна»

Если на окраине Переславля повернуть в сторону села Вельского и двигаться в этом направлении, скоро окажешься на улице Петра I, разделяющей берег озера и гору Гремяч. На склоне – памятник юному царю. Дух захватывает здесь от озерного простора и вольного ветра. Именно в этом месте Петр в апреле 1688 года взялся с помощью голландских мастеров за создание своей корабельной «потехи».

Строительство кораблей продолжалось несколько лет. Петр часто приезжал в Переславль и торопил мастеров. За четыре года построили около ста малых и больших судов. Флагманом флотилии стал тридцатипушечный фрегат «Марс», спущенный на воду 1 мая 1692 года. Вскоре на Плещеевом озере состоялись первые в истории России флотские учения, со стрельбой из пушек и маневрами.

Петр был на фрегате бомбардиром и палил из пушек, а с берегов кораблям салютовали потешные войска. Так начинался российский флот...

Переславцы долго хранили остатки «потешной флотилии». Но в 1783 году ее уничто-

жил пожар. Уцелел только ботик «Фортуна», построенный, как утверждают, при участии самого Петра. Он стал главным экспонатом возведенного в 1803 году «Ботного дома». Здесь, в старейшем провинциальном музее России, он по сей день и хранится.

Юный царь начинал строительство больших военных кораблей в Архангельске и Воронеже, затем были взятие крепости Азов и первая в истории морская победа русского флота в Гангутском сражении, во время которой царь Петр лично участвовал в абордажной атаке шведских кораблей, показав пример героизма. Но все то, что историки стали именовать славными ратными делами Петра, было потом. Вначале же был ботик. И потешная флотилия.

Плещеево озеро сейчас объявлено национальным парком. Здесь есть чем восхититься. Помимо чудесных пейзажей на берегах озера сохранились остатки древних городищ славян и племени меря. Под Александровой (Ярилиной) горой на береговом песке лежит Синий камень, которому издревле поклонялись язычники. И до сих пор с надеждой приносящие к этому валуну туристы щедро рассыпают по нему монетки и загадывают желания. В Интернете эта точка заповедника обозначена как сакральное место энергетической силы. Впрочем, тому, кто оказавшись в Переславле, не дошел до Синь-камня, не стоит сильно переживать. Оглянитесь по сторонам. Место силы – перед вами.

Илья МЕДОВОЙ
Фото автора





Буквопляс

НАЙДИ СПРЯТАННОЕ СЛОВО!

1. Окапи барабанит в дверь.
Открыл ему какой-то зверь.

2. К роли капитана
Готовится Светлана.

Маруся Новожилова

3. В предгорьях Альп – а, каж-
дый знает! –
Весной фиалка расцветает.

Кирилл Федоткин

4. На водопое здесь гепард,
Лев, антилопа, леопард.

Маша Соколова

Ответы

1. Окапи барабанит в дверь.
Открыл ему какой-то зверь.
2. К роли капитана
Готовится Светлана.
3. В предгорьях Альп – а, каж-
дый знает! –
Весной фиалка расцветает.
4. На водопое здесь гепард,
Лев, антилопа, леопард.

АНАГРАММЫ

Он танцует на траве
И стоит на голове.
Переставьте буквы в нём –
Вот подвеска с янтарём.

**Маша Соколова,
Настя Морева,
Тимофей Тутукин**

Громкий шум на перемене!
Буквы мы местами сменим –
И получится волшебник.
(Ни к чему ему учебник.)

Маша Соколова

Ответ: лам – янтарь

Ответ: клоун – клоун

Это милая собака – у неё
смешная попка,
И нос прикольный, словно
кнопка.
А с конца её прочтите –
Футболиста получите.

**Настя Морева
и Маша Мисса**

Ответ: кортик – кортик



АНАГРАММЫ

Пятнистая кормилица,
Жучка однофамилица.
В на Н вы замените –
Трон в подарок получите!

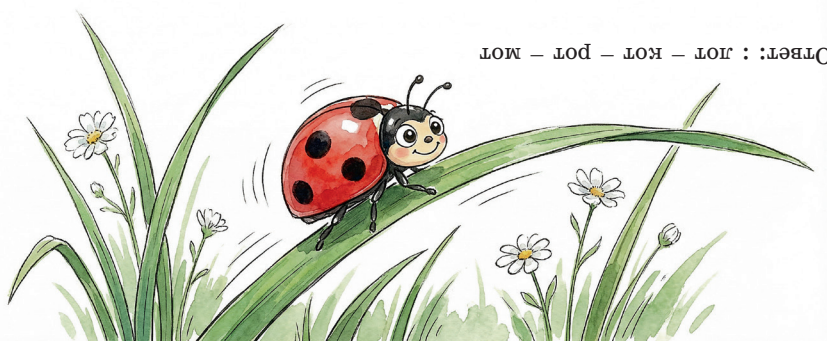
Маша Соколова

Ответ: королева – королева

С буквой Л – выигрывают
люди,
С буквой К – мурлыкать
будет,
С буквой Р – заговорит,
С буквой М – все деньги
распылит.

Виолетта Шляхова

Ответ: кот – кот – кот – кот



Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал, думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался.

— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были — это ты правду сказал, — объяснил он ершу, — а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел. У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают, — так с таким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтоб он серьезную пакость сделал, — ну, тогда, конечно...

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хотя я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй — скажи: может ли такое злодейство стать! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, ни дай, ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! да ведь намердись, на глазах у тебя, монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил... Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями случилось: ино их съели, ино в сажалку посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи, коли так, и ты, сорвиголова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами ни задавайся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал.

— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторствовал он. — Чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!

— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ерш.

— Я, брат, подъеду! — стоял на своем карась. — Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А ну-тка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?

— Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот прокалю?

— Ах, нет! сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права сознаем, когда нас, с малых лет, в гражданских чувствах воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

— Все-таки...

— То-то — «все-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лежа, делать будешь?

— Не в тине, а вообще...

— Например?

— Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: «Не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!»

— А он тебя, за грубость, на сковороду либо в золу в горячую... Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопы чувства надо иметь, — вот это верно. Схоронился, где погуще, и молчи, остолоп!

Или еще:

— Рыбы не должны рыбами питаться, — бредил наяву карась. — Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И все это добро, все на потребу.

— А для щук на потребу караси, — отрезвлял его ерш.

— Нет, карась сам себе довлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особый закон, в видах обеспечения его личности, издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение опубликовать: луч-

ше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

– И ладно будет?

– Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась все бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему – ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головель с повесткой: на завтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть свет ответ держать явись!

Карась, однако ж, не обробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.

Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она... добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив того, с расчетцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет да и скажет: «За то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этою заводью; будь ты над нею начальник!»

Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится: каких ему про щуку сплеток ни наплели, а она – рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

– Слышала я, – молвила щука, – что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

– Об счастии я больше думаю, – скромно, но с достоинством ответил карась. – Чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.

– Гм... и ты думаешь, что такому делу статья возможна?

– Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

– Например: плыву я, а рядом со мною... карась?

– Так что же такое?

– В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то... съем?

– Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы.

– Маловато для меня. Головель! неужто такой закон есть? – обратилась щука к головлю.

– В забвении, ваше высокостепенство! – ловко вывернулся головель.

– Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

– А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые – бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче – ты и дело на себя посильнее возьмешь; а мне, карасю, по моим скромным способностям, и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого – вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то еще где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придется!

– Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что: так, значит, потвоему, и я работать буду должна?

– Как прочие, так и ты.

– В первый раз слышу. Поди проспись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него, во всяком случае, не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

– Так ты полагаешь, что я работать стану и ты от моих трудов лакомиться будешь? – прямо поставила вопрос щука.

– Все друг от дружки... от общих, взаимных трудов...

– Понимаю: «друг от дружки»... а между прочим, и от меня... гм! Думается, однако ж, что ты это заторные речи говоришь. Головель! как, по-нынешнему, такие речи называются?

Дурак

– Сицилизмом, ваше высокостепенство!

– Так я и знала. Давненько я уж слышу: «Бунтовские, мол, речи карась говорит!» Только думаю: «Дай лучше сама послушаю...» Ан вон ты каков!

Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

– Я, ваше высокостепенство, ничего, – пробормотал он в смущении, – это я по простоте...

– Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты – карась как карась, – только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоед.

Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была, и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головы и взяли под караул.

Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

– Хотя ты мне и супротивник, – начала опять первая щука, – да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, зашелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

– Знаешь ли ты, что такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке – узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:

– Вот они, диспуты-то наши, каковы!

В старые годы, при царе Горохе это было: у умных родителей родился сын дурак. Еще когда младенцем Иванушка был, родители дивились: в кого он уродился? Мамочка говорила, что в папочку, папочка – что в мамочку, а наконец подумали и решили: должно быть, в обоих.

Не то, впрочем, родителей смущало, что у них сын дурак, – дурак, да ежели ко двору, лучше и желать не надо, – а то, что он дурак особенный, за которого, того гляди, перед начальством ответить придется. Набедокурит, начудит – по какому праву? какой такой закон есть?

Бывают дураки легкие, а этот мудреный. Вон у Милитрисы Кирбитьевны – рукой подать – сын Левка, тоже дурачок. Выбежит босиком на улицу, спустит рукава, на одной ножке скачет, а сам во всю мочь кричит: «Тили-тили, Левку били, бими-бими, бом-бум!» Сейчас его изымают, да на замок в холодную: сиди да посиживай! Даже губернатору, когда на ревизию приезжал, Левку показывали, и тот похвалил: «Берегите его, нам дураки нужны!»

А этот дурак – необыкновенный. Сидит себе дома, книжку читает, либо к папке с мамкой ласкается – и вдруг, ни с того ни с сего, в нем сердце загорится. Бежит, земля дрожит. К которому делу с подходцем бы подойти, а он на него прямиком лезет; которое слово совсем бы позабыть надо, а он его-то и ляпнет. И смех и грех. Хотя кричи на него, хоть бей – ничего он не чувствует и не слышит. Сделает, что ему хочется, и опять домой прибежит, к папке с мамкой под крылышко.

– Что с тобой, ненаглядный ты наш? сядь, миленький, отдохни!

– Я, мамочка, не устал.

– Куда ты, голубчик, бегаешь? Не скажешься никому и убежишь!

– Я, мамочка, к Левке бегал. Левка болен, калачика просит; я взял с прилавка в булочной калачик и снес.

Услышит мамочка эти слова, так и ахнет.

– Ах, убил! ах, голову с меня, несчастный, ты снял! Что ты наделал! Это ты, значит, калачик-то украл!

– Как «украл»? что такое «украл»?

Сколько раз и соседи папочку с мамочкой предостерегали:

– Уймите вы своего дурака! большие он вам неприятности через свою глупость предоставит!

Но родители ничего не могли, только думали: «Легко сказать „Уймите!“, а как ты его уй-

мешь? Как это люди не понимают, что родительское сердце по глупом сыне больше даже, чем по умном, разрывается?»

И точно, примется, бывало, папочка дурака усовещивать: «Калач есть собственность» – он как будто и понимает: «Да, папочка!» Но вдруг, в это время, откуда ни возьмись, Левка: «Дай, Ваня, калачика!» Он – шмыг, и точно вот слизнул калач с прилавка! Как тут понять: украл он его или не украл?

Терпел-терпел булочник, но наконец обиделся: принес в квартал жалобу. Явился к дураковым родителям квартальный и сказал: «Как угодно, а извольте вашего дурака высечь». Плакала родительская утроба, а делать нечего. Видит папочка, что резонно квартальный говорит: высек дурака.

Но дурак ничего не понял. Почувствовавши, что больно, всплакнул, но не жаловался: «За что?» и не кричал: «Не буду!» Скорее как будто удивился: «Для чего это папочке понадобилось?»

Так и пропал этот урок даром – как был Иванушка до сечения дураком, так и после сечения дураком остался. Увидит из окна, что Левка босиком по улице скачет, – и он выбежит, сапоги снимет, рукава у рубашки спустит и начнет заодно с дурачком куролесить.

– Ишь, занятие нашел! – рассердится мамочка, – дурака дразнит!

– Я, мамочка, не дразню, а играю с ним, потому что ему одному скучно.

– Повертись! повертись! довертись, что сам дураком сделаешься!

Услышит папочка этот разговор и на мамочку накинется:

– Сечь его надо, а она разговаривает! разговаривай больше, – дождешься! Кабы ты чаще ему под рубашку заглядывала, давно бы он у нас человеком был!

И все соседи папочку одобряют: во-первых, потому, что закон есть такой, чтобы дураков учить; а во-вторых, и потому, что никому от Иванушки житья не стало. Намеднись соседские мальчишки вздумали козла дразнить – он за козла вступился. Стал посередке и не дает козла в обиду. Козел его сзади рогами бьет, мальчишки спереди по чем попало тузят, а ему горяшка мало – всего в синяках домой привели! А на другой день опять с дураком история: у повара петуха отнял. Нес повар под мышкой петуха на кухню, а дурак ему навстречу: «Куда, Кузьма, петушка несешь?» – «Известно, мол, на кухню, да в суп»... Как кинется на него ду-

рак! Не успел Кузьма опомниться – смотрит, а петух уж на забор взлетел и крыльями хлопает!

Толковал-толковал ему папочка: «Петух – не твой, как же ты смел его у повара отнимать?» А он в ответ одно твердит: «Знаю я, что петух не мой, да и не поваров он, а свой собственный...»

Как ни любили дурака все домочадцы за его ласковость и тихость, но с течением времени он всех поступками своими донял. Есть ему захочется – нет чтобы мамочку попросить: «Позвольте, мол, милый друг маменька, в буфете пирожок взять», – сам пойдет, и в буфете, и в кухне перешарит, и что попадется под руку, так, без спросу, и съест. Захочется погулять – возьмет картуз, так, без спросу, и уйдет. Раз нищий под окном остановился, а у мамочки, как на грех, в ту пору трехрублевенькая бумажка на столе лежала, – он взял да ВСЕ три рублика нищему в суму и ухнул!

– Батюшки! да из него Картуш выйдет! – невзвидела света мамочка.

– И непременно выйдет, – отозвался папочка, – хуже выйдет, ежели ты вместо того, чтобы сечь, ласы с ним точить будешь!

Делать нечего, высекла дурака и мамочка. Но высекла, надо прямо сказать, чуть-чуть, только чтобы наука была. А он встал, сердечный, весь заплаканный, и обнял мамочку.

– Ах, мамочка, мамочка! бедненькая ты моя мамочка!

И сделалось мамочке вдруг так стыдно, так стыдно, что она и сама заплакала.

– Дурачок ты мой ненаглядный! вот кабы нас Бог с тобой вместе к себе взял!

Наконец, однако, он и себя, и мамочку едва не погубил. Гуляли они однажды всей семьей по набережной реки. Папочка мамочку под ручку вел, а он, впереди, разведчика из себя изображал. Будто бы они источники Нигера открывать собирались, так он послан вперед разузнать, не угрожает ли откуда опасность. Вдруг слышат стоны; взглянули на реку, а там чей-то мальчишечко в воде барахтается! Не успели опомниться – ан дурак уж в реку бухнул, а за дураком мамочка, как была в кринолине, так и очутилась в воде. А за мамочкой – пара городских в амунии. А папочка стоит у решетки да руками, словно птица крыльями, машет: «Моих-то спасайте, моих!» Наконец городские всех троих из воды вытащили. Мамочка-то одним страхом поплатилась, а дурак целый месяц в горячке вылежал. Понял ли он, что поступил по-дурацки, или сделалось ему мамочку жал-

ко, только как пришел он в себя да увидел, что мамочка, худенькая да бледненькая, в головах у него сидит, – так и залился слезами! Только и твердит: «Мамочка! мамочка! мамочка! зачем нас Бог к себе не взял?»

А папочка тут же стоял и все надеялся, что дурак хоть на этот раз скажет: «Простите, милый папочка, я вперед не буду!» Однако он так-таки и не сказал.

После этого случая папочка с мамочкой серьезно совещались: как с дураком быть? Ходили, обнявшись, по зале, со всех сторон предмет рассматривали и долго ни на чем не могли сойтись.

Дело в том, что папочка был человек справедливый. И дома, и в гостях, и на улице он только об одном твердил: «Всё законы писать, ежели их не исполнять». У него даже и наружность такая уморительная была, как будто он в одной руке весы держит, а другою – то золотник в чашечку поступков подбавит, то ползолотника в чашечку возмездий подкинет. Поэтому, и принимая во внимание все вышеизложенное, он требовал, чтобы с Иванушкой было поступлено по всей строгости домашнего кодекса.

– Преступил он – следовательно, и соответствующее возмездие понести должен. Вот смотри!

И он показал мамочке табличку, в которой было изображено:

Название проступка: Отступление от правил субординации.

Число ударов розгою: от 5 до 7.

Но мамочка была мамочка – только и всего. Справедливости она не отрицала, но понимала ее в каком-то первобытном смысле, в каком понимает это слово простой народ, говоря о «справедливом» человеке. Без возмездий, а вроде как бы отпущения. И как ни мало она была в юридическом отношении развита, однако в одну минуту папочку осрамила.

– За что ж мы наказывать его будем? – сказала она. – За то, что он утопающего спасти хотел? Опомнись!

Тем не менее папочка настоял-таки, что дома держать дурака невозможно, а надо отдать его в «заведение».

Регулярно-спокойный обиход заведения на первых порах отразился на дураке довольно выгодно. Ничто не бредило его восприимчивости, не пробуждало в нем внезапных движений души. В первые годы даже учения настоящего не было, а только усваивался учебный материал. Не встречалось также резкой разницы и в

товарищеской среде, – такой разницы, которая вызывала бы потребность утешить, помочь. Все шло тем средним ходом, который успех учения ставил, главным образом, в зависимость от памяти. А так как память у Иванушки была превосходная, да и сердце, к тому же, было золотое, то чуть-чуть Иванушка и впрямь из дурака не сделался умницей.

– Говорил я тебе? – торжествовал папочка.

– Ну-ну, не сердись! – отвечала мамочка, как бы винаясь, что она чересчур поторопилась папочку осрамить.

Но по мере того как объем предлагаемого знания увеличивался, дело Иванушки усложнялось. Большинства наук он совсем не понимал. Не понимал истории, юриспруденции, науки о накоплении и распределении богатств. Не потому, чтобы не хотел понимать, а воистину не понимал. И на все усовершенствования учителей и наставников отвечал одно: «Не может этого быть!»

Только тогда настоящим образом узнали, что он несомненный и круглый дурак. Такой дурак, которому могут быть доступны только склады науки, а самая наука – никогда. Природа поступает, по временам, жестоко: раскроет способности человека только в меру понимания азбучного материала, а как только дойдет очередь, чтобы из материала делать выводы, – закропатит, и конец.

Снова сконфузился папочка и стал мамочку упрекать, что Иванушка в нее уродился. Но мамочка уж не слушала попреков, а только глаз не осушала, плакала. Неужто Иванушка так-таки навек дураком и останется?!

– Да ты хоть притворись, что понимаешь! – уговаривала она Иванушку, – принудь себя, хоть немножко пойми, ну, дай я тебе покажу!

Раскроет мамочка книжку, прочтет «§ о порядке наследования по закону единоутробных» – и ничего-таки не понимает! Плачут оба: и дурак, и мамочка. А папочка между тем так и режет: единоутробных, прежде всего, необходимо отличать: во-первых, от единокровных; во-вторых, от тех, кои, будучи единоутробными, суть в то же время и единокровные, и, в-третьих, от червонных валетов...

– Вот папенька-то как хорошо знает! – удивлялась мамочка, заливаясь слезами.

Видя материнские слезы, дурак напрягал нередко все свои усилия. Уйдет, во время рекреации, в класс, сядет за тетрадку, заложит пальцами уши и начнет долбить. Выдолбит и

так отлично скажет урок, словно на бобах разведет... И вдруг что-нибудь такое насчет Александра Македонского ляпнет, что у учителя на плешивой голове остальные три волоса дыбом встанут.

– Садитесь! – молвит учитель, – печальная вам в будущем участь предстоит! Никогда вы государственным человеком не сделаетесь. Благодарите Бога, что он дал вам родителей, которые ни в чем не замечены. Потому что, если б не это... Садитесь! и ежели можете, то старайтесь не огорчать ваших наставников возмутительными выходками!

И точно: только благодаря родительскому благонаправлению дурака из класса в класс переводили, а наконец, и из заведения с чином выпустили. Но когда он домой с аттестатом явился, то мамочка, как взглянула, что там написано, так и залилась слезами. А папочка сурово спросил:

– Что ты, бесчувственный идол, набедокурил?

– Я, папочка, так себе, – ответил он, – это, должно быть, такое правило в заведении...

Даже не объяснился порядком; увидел на улице Левку и убежал.

Левку он полюбил пуще прежнего, потому что бедный дурак еще жалче стал. Как и шесть лет тому назад, он ходил босой, худой, держа руки граблями, – но весь оброс волосами и вытянулся с коломенскую версту. Милитриса Кирбитьевна давно от него отказалась: не кормила его и почти совсем не одевала. Поэтому он был всегда голоден, и если б не сердобольные торговки-калашницы, то давно бы с голоду помер. Но больше всего он страдал от уличных мальчишек. Отдыху они ему не давали: дразнились, науськивали на него собак, щипали за икры, теребили на нем рубашку. Целый день раздавался на улице его вой, сопровождаемый неистовым дурацким щелканьем. Он выл от боли, но не понимал, откуда эта боль идет.

Дурак защитил Левку, обогрел, накормил и одел. Все, что для Левки было нужно, Иванушка брал без спроса; а ежели не знал, где найти, то требовал таким тоном, как будто самое представление об отказе ему было совершенно чуждо. Только у дураков бывает такая убежденность в голосе, такая непререкаемость во взорах. Никого и ничего он не боялся, ни к чему не питал отвращения и совсем не имел понятия об опасности. Завидев исправника, он не перебежал на другую сторону улицы, но шел прямо навстречу, точно ни в чем не был виноват. Случится в городе пожар – он первый идет в огонь; услышит ли, что где-нибудь есть труд-

ный больной – он бежит туда, садится к изголовью больного и прислуживает. И умные слова у него в таких случаях оказывались, словно он и не дурак. Одно только тяжелым камнем лежало на его сердце: мамочка бессонные ночи проводила, пока он дурачество свое ублажал. Но было в его судьбе нечто непреодолимое, что фаталистически влекло его к самоуничтожению и самопожертвованию, и он инстинктивно повиновался этому указанию, не справляясь об ожидаемых последствиях и не допуская сделок даже в пользу кровных уз.

Не раз родители задумывались, каким бы образом дурака пристроить, чтобы он хоть маломальски на человека похож был. Определил было папочка его на службу чем-то вроде попечителя местного училища (без жалованья, дескать, и дурак сойдет, а с жалованьем – даже наверное!); но дурак сразу такую ахиною понес, что исправник, только во внимание к испытанному благонаправлению родителей, согласился это дело замять. Тогда мамочка напала на мысль – женить дурака: может быть, Бог узы ему разрешит. Подыскали невесту, молодую купеческую вдову Подвохину. Невеста из себя писаная краля была и в гостином дворе две лавки имела. Вдовела она безупречно, товар держала всегда первейшего качества и дела свои по торговле вела умело и самостоятельно. Словом сказать, лучше партии и желать не надо. Дурак, в свою очередь, тоже понравился невесте: внешность у него была приличная, поведение – кроткое. Даже ума в нем она не отрицала, как другие, но только находила, что нужно этот ум развязать. И вполне на себя надеялась, что успеет в этом.

Но у дурака все вообще инстинкты до такой степени глубоко спали, что даже эта жалостливая и скромная женщина удивилась. Ни разу он не дрогнул от прикосновения к ней, ни разу не смутился, не почувствовал ни одной из тех неловкостей, к которым с таким сердечным жалением относятся женщины, инстинктивно угадывая в них первые, сладостнейшие трепетания любви. Придет дурак, отобедает, чаю напьется и, по-видимому, совсем не понимает, почему он находится у Подвохиной, а не дома.

– Как это вам не скучно: ничего вы не понимаете? – спросит его красавица вдова.

– Ах, нет, мне очень скучно! Говорят, будто оттого, что занятия у меня никакого нет.

– Так вы займитесь... полюбите кого-нибудь!

– Помилуйте! как же возможно не любить! всех любить надо. Счастливых – за то, что они

сумели себя счастливыми сделать; несчастных – за то, что у них радостей нет.

Так это сватовство и не состоялось. Потужила вдова Подвохина и даже пообещала годок подождать, но месяц-другой потерпела, да в рождественский мясоед и вышла замуж за городского голову Лиходеева. Теперь у них уж четыре лавки в гостином дворе; по будням они во всех четырех лавках торг ведут: она – по галантерейной части, он – по бакалейной; а по праздникам исправника и прочих властей пирогом угощают.

А дурак засел дома на родительской шее и ухом не ведет. На пожары бегают, больных выхаживает, нищих целыми табунами домой приводит.

– Хоть бы Господь его прибрал! – шепчет папочка потихоньку, чтоб мамочка не слыхала.

А мамочка все молится, на милость Божию надеется. Просветит Господь разум Иванушкин пониманием, направит стопы его по стезе господина исправника, его помощника и непременно заседателя! Должен же он какую-нибудь должность по службе получить! не может быть, чтоб для всех было дело, и только для него одного – ничего.

Только один человек на дурака иными глазами взглянул, да и тот был случайный проезжий. Ехал он мимо города и завернул к папочке, с которым он старинный-старинный приятель был. Пошли сказы да рассказы: помянули старину, об увлечениях молодости досыта наговорились, а между прочим и настоящего коснулись. Папочка двери на всякий случай притворил, и оба, что было на душе, все выложили. Объяснились. Не сказали, а подумали: «Так вот, брат, ты кто!» Разумеется, не обошлось без жалоб и на дурака; а так как с ним уж не чинились, то так-таки, в его присутствии, прямо «дураком» его и чествовали. Заинтересовался проезжий рассказами о дураке, остался ночевать у старого приятеля, а на другой день и говорит:

– Совсем он не дурак, а только подлых мыслей у него нет – от этого он и к жизни приспособиться не может. Бывают и другие, которые от подлых мыслей постепенно освобождаются, но процесс этого освобождения стоит больших усилий и нередко имеет в результате тяжелый нравственный кризис. Для него же и усилий никаких не требовалось, потому что таких пор в его организме не существовало, через которые подлая мысль заползти бы могла. Сама природа ему это дала. А впрочем, несомненно, что настанет минута, когда наплыв жизни силою своего гнета заставит его выбирать между дурачеством и под-

лостью. Тогда он поймет. Только не советовал бы я вам торопить эту минуту, потому что как только она пробьет, не будет на свете другого такого несчастного человека, как он. Но и тогда, – я в этом убежден, – он предпочтет остаться дураком.

Сказал это проезжий и проследовал из города дальше. А папочка между тем задумался. Начал всю свою жизнь перебирать, припоминая, какие у него подлые мысли бывали и каким манером он освобождался от них? И, разумеется, как ни строго себя экзаменовал, но вышел из испытания с честью. Никогда у него подлых мыслей не бывало, а следовательно, и освободиться от них он надобности не ощущал. Отчего же, однако, он не дурак?

Наконец порешил на том, что у старого друга ум за разум зашел. «Сидят они там, в петербургских мурьях, да развиваются. Разовьются, да и заврутся. А мы вот засели по Пошехоньям: не развиваемся, да зато и не завираемся – так-то прочнее. И врет он все: никакого дара природы в дурачестве нет, и ежели, по милости Божией, мой дурак когда-нибудь умницей сделается, то, наверное, несчастным оттого не будет, а поступит на службу, да и начнет жить да поживать, как и прочие все».

Порешивши таким родом, стал ждать: вот-вот Иванушка просияет, и его, не в пример другим, на чреду служения призовут. Ан, вместо того, в одно прекрасное утро ему объявили, что дурак совсем из дома исчез.

* * *

Прошли годы; старики родители очи выплакали. Не было той минуты, в которую бы они не ждали; не было той мысли, которая бы, прямо или косвенно, не относилась к исчезнувшему дураку. Все перезабыли старики, только об одном помнили: «Где он теперь? сыт ли? одет ли? много ли дураку нужно, чтоб погибнуть!» Не дай Бог врагу испытывать эту пытку родительского сердца, которое все вины на себя берет, всеми детскими стонами, в тысячекратно раздающемся эхе, раздирается!

Однако дурак воротился. Внезапно, точно так же, как и исчез. Но от прежнего цветущего здоровьем дурака не осталось и следов. Он был бледен, худ и измучен. Где он скитался? что видел? понял или не понял? – никто ничего дознаться от него не мог. Пришел он домой и замолчал.

Во всяком случае, проезжий был прав: так до смерти и осталась при нем кличка: дурак.

1885

Либерал

В некоторой стране жил-был либерал, и при том такой откровенный, что никто слова не молвит, а он уж во все горло гаркает: «Ах, господа, господа! что вы делаете! ведь вы сами себя губите!» И никто на него за это не сердился, а, напротив, все говорили: «Пускай предупреждает – нам же лучше!»

– Три фактора, – говорил он, – должны лежать в основании всякой общественности: свобода, обеспеченность и самостоятельность. Ежели общество лишено свободы, то это значит, что оно живет без идеалов, без горения мысли, не имея ни основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы. Ежели общество сознает себя необеспеченным, то это налагает на него печать подавленности и делает равнодушным к собственной участи. Ежели общество лишено самостоятельности, то оно становится неспособным к устройству своих дел и даже мало-помалу утрачивает представление об отечестве.

Вот как мыслил либерал, и, надо правду сказать, мыслил правильно. Он видел, что кругом него люди, словно отравленные мухи, бродят, и говорил себе: «Это оттого, что они не сознают себя строителями своих судеб. Это колодники, к которым и счастье, и злосчастье приходит без всякого с их стороны предвидения, которые не отдаются беззаветно своим ощущениям, потому что не могут определить, действительно ли это ощущения, или какая-нибудь фантазмагория». Одним словом, либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые три фактора могут дать обществу прочные устои и привести за собою все остальные блага, необходимые для развития общественности.

Но этого мало: либерал не только благородно мыслил, но и рвался благое дело делать. Заветнейшее его желание состояло в том, чтобы луч света, согревавший его мысль, прорезал окрестную тьму, осенил ее и все живущее напоил благоволением. Всех людей он признавал братьями, всех одинаково призывал насладиться под сению излюбленных им идеалов.

Хотя это стремление перевести идеалы из области эмпиреев на практическую почву припаховало не совсем благонадежно, но либерал так искренно пламенел, и притом был так мил и ко всем ласков, что ему даже неблагонадежность охотно прощали. Умел он и истину с улыбкой высказать, и простачком, где нужно, прикинуться, и бескорыстием щегольнуть. А главное, никогда и ничего он не требовал наступя

на горло, а всегда только по возможности.

Конечно, выражение «по возможности» не представляло для его ретивости ничего особенно лестного, но либерал примирялся с ним, во-первых, ради общей пользы, которая у него всегда на первом плане стояла, и, во-вторых, ради ограждения своих идеалов от напрасной и преждевременной гибели. Сверх того, он знал, что идеалы, его одушевляющие, имеют слишком отвлеченный характер, чтобы воздействовать на жизнь непосредственным образом. Что такое свобода? обеспеченность? самостоятельность? Все это отвлеченные термины, которые следует наполнить несомненно осязательным содержанием, чтобы в результате вышло общественное цветение. Термины эти, в своей общности, могут воспитывать общество, могут возвышать уровень его верований и надежд, но блага осязаемого, разливающего непосредственное ощущение довольства, принести не могут. Чтобы достичь этого блага, чтобы сделать идеал общедоступным, необходимо разменять его на мелочи и уже в этом виде применять к исцелению недугов, удручающих человечество. Вот тут-то, при размене на мелочи, и вырабатывается само собой это выражение: «по возможности», которое, из двух приходящих в соприкосновение сторон, одну заставляет в известной степени отказать от замкнутости, а другую – в значительной степени сократить свои требования.

Все это отлично понял наш либерал и, заручившись этими соображениями, препоясавшись на брань с действительностью. И прежде всего, разумеется, обратился к сведущим людям.

– Свобода – ведь, кажется, тут ничего предосудительного нет? – спросил он их.

– Не только не предосудительно, но и весьма похвально, – ответили сведущие люди, – ведь это только клеветают на нас, будто бы мы не желаем свободы; в действительности мы только об ней и печалимся... Но, разумеется, в пределах...

– Гм... «в пределах»... понимаю! А что вы скажете насчет обеспеченности?

– И это милости просим... Но, разумеется, тоже в пределах.

– А как вы находите мой идеал общественной самостоятельности?

– Его только и не доставало. Но, разумеется, опять-таки в пределах.

Что ж! в пределах, так в пределах! Сам либерал хорошо понимал, что иначе нельзя. Пустика савраса без узды – он в один момент того накуролесит, что годами потом не поправишь! А с уздою – святое дело! Идет саврас и оглядывает-

ся: а ну-тко я тебя, саврас, кнутом шарахну... вот так!

И начал либерал «в пределах» орудовать: там урвет, тут урежет; а в третьем месте и совсем спрячется. А сведущие люди глядят на него и не нарадуются. Одно время даже так работой его увлеклись, что можно было подумать, что и они либералами сделались.

– Действуй! – поощряли они его, – тут обойди, здесь стушуй, а там и вовсе не касайся. И будет все хорошо. Мы бы, любезный друг, и с радостью готовы тебя, козла, в огород пустить, да сам видишь, каким тыном у нас огород обнесен!

– Вижу-то, вижу, – соглашался либерал, – но только как мне стыдно свои идеалы ломать! так стыдно! ах, как стыдно!

– Ну, и постыдись маленько: стыд глаза не выест! зато, по возможности, все-таки затею свою выполнишь!

Однако, по мере того, как либеральная затея по возможности осуществлялась, сведущие люди догадывались, что даже и в этом виде идеалы либерала не розами пахнут. С одной стороны, чересчур широко задумано; с другой стороны – недостаточно созрело, к восприятию не готово.

– Невмоготу нам твои идеалы! – говорили либералу сведущие люди, – не готовы мы, не выдержим!

И так подробно и отчетливо все свои несостоятельности и подлости высчитывали, что либерал, как ни горько ему было, должен был согласиться, что, действительно, в предприятии его существует какой-то фаталистический огрех: не лезет в штаны, да и баста.

– Ах, как это печально! – роптал он на судьбу.

– Чудак! – утешали его сведущие люди, – есть отчего плакать! Тебе что нужно? – будущее за твоими идеалами обеспечить? – так ведь мы тебе в этом не препятствуем. Только не торопись ты, ради Христа! Ежели нельзя «по возможности», так удовольствуйся тем, что отвоюешь «хоть что-нибудь»! Ведь и «хоть что-нибудь» свою цену имеет. Помаленьку да полегоньку, не торопясь да Богу помолясь – смотришь, ан одной ногой ты уж и в капище! В капище-то, с самой постройки его, никто не заглядывал; а ты взял да и заглянул... И за то Бога благодари.

Делать нечего, пришлось и на этом помириться. Ежели нельзя «по возможности», так «хоть что-нибудь» старайся урвать, и на том спасибо скажи. Так либерал и поступил, и

вскоре так свыкся с своим новым положением, что сам дивился, как он был так глуп, полагая, что возможны какие-нибудь иные пределы. И уподобления всякие на подмогу к нему явились. И пшеничное, мол, зерно не сразу плод дает, а также поцеремонится. Сперва надо его в землю посадить, потом ожидать, покуда в нем произойдет процесс разложения, потом оно даст росток, который прозябнет, в трубку пойдет, восколосится и т. д. Вот через сколько волшебств должно перейти зерно прежде, нежели даст плод сторицею! Так же и тут, в погоне за идеалами. Посадил в землю «хоть что-нибудь» – сиди и жди.

И точно: посадил либерал в землю «хоть что-нибудь» – сидит и ждет. Только ждет-пождет, а не прозябает «хоть что-нибудь» и вся недолга. На камень оно, что ли, попало или в навозе сопрело – поди, разбирай!

– Что за причина такая? – бормотал либерал в великом смущении.

– Та самая причина и есть, что загребаешь ты чересчур широко, – отвечали сведущие люди. – А народ у нас между тем слабый, расподлеющий. Ты к нему с добром, а он норовит тебя же в ложку утопить. Большую надо сноровку иметь, чтобы с этим народом в чистоте себя сохранить!

– Помилуйте! что уж теперь о чистоте говорить! С каким я запасом-то в путь вышел, а кончил тем, что весь его по дороге растерял. Сперва «по возможности» действовал, потом на «хоть что-нибудь» – съехал – неужто можно и еще дальше под гору идти?

– Разумеется можно. Не хочешь ли, например, «применительно к подлости»?

– Как так?

– Очень просто. Ты говоришь, что принес нам идеалы, а мы говорим: «Прекрасно; только ежели ты хочешь, чтобы мы восчувствовали, то действуй применительно».

– Ну?

– Значит, идеалами-то не превозносишь, а по нашему масштабу их сократи, да применительно и действуй. А потом, может быть, и мы, коли пользу увидим... Мы, брат, тоже травленные волки, прожекторов-то видели! Намеднись генерал Крокодилов вот этак же к нам отъявился: «Господа, говорит, мой идеал – кутузка! пожалуйте!» Мы сдуру-то поверили, а теперь и сидим у него под ключом.

Крепко задумался либерал, услышав эти слова. И без того от первоначальных его идеалов только одни ярлыки остались, а тут еще под-

лость прямую для них прописывают! Ведь этак, пожалуй, не успеешь оглянуться, как и сам в подлецах очутишься. Господи! вразуми!

А сведущие люди, видя его задумчивость, с своей стороны, стали его понуждать. «Коли ты, либерал, заварил кашу, так уж не мудри, вари до конца! Ты нас взбудоражил, ты же нас и ублаготвори... действуй!»

И стал он действовать. И все применительно к подлости. Попробует иногда, грешным делом, в сторону улизнуть; а сведущий человек сейчас его за рукав: «Куда, либерал, глаза скосил? гляди прямо!»

Таким образом шли дни за днями, а за ними шло вперед и дело преуспевания «применительно к подлости». Идеалов и в помине уж не было – одна мразь осталась, – а либерал все-таки не унывал. «Что ж такое, что я свои идеалы по уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь – я и опять молодец-молодцом!» А сведущие люди слушали эти его похвалы и поддакивали: «Именно так!»

И вот, шел он однажды по улице с своим приятелем, по обыкновению, об идеалах калякал и свою мудрость на чем свет превозносил. Как вдруг он почувствовал, словно бы на щеку ему несколько брызгов пало. Откуда? с чего? Взглянул либерал вверх: не дождик ли, мол? Однако видит, что в небе ни облака, и солнышко, как угорелое, на зените играет. Ветерок хоть и подувает, но так как помой из окон выливать не указано, то и на эту операцию подозрение положить нельзя.

– Что за чудо! – говорит приятелю либерал, – дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят!

– А видишь, вон за углом некоторый человек притаился, – ответил приятель, – это его дело! Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает. Вот он, «применительно к подлости», из-за угла и плюнул; а на тебя ветром брызги нанесло.

1885

Баран-непомнящий

Домашние бараны с незапамятных времен живут в порабощении у человека; их настоящие родоначальники неизвестны.

Брэм

Были ли когда-нибудь домашние бараны «вольными» – история об этом умалчивает. В самой глубокой древности патриархи уже обладали стадами прирученных баранов, и затем, через все века, баран проходит распространением по всему лицу земли в качестве животного, как бы нарочито на потребу человека созданного. Человек, в свою очередь, создает целые особые породы баранов, почти не имеющие между собою ничего общего. Одних воспитывают для мяса, других – для сала, третьих – ради теплых овчин, четвертых – ради обильной и мягкой волны.

Сами домашние бараны, конечно, всего меньше о вольном прародителе своем помнят, а просто знают себя принадлежащими к той породе, в которой застал их момент рождения. Этот момент составляет исходную точку личной бараньей истории, но даже и он постепенно тускнеет, по мере вступления барана в зрелый возраст. Так что истинно мудрым называется только тот баран, который ничего не помнит и не сознает, кроме травы, сена и месячки, предлагаемых ему в пищу.

Однако грех да беда на кого не живет. Спал однажды некоторый баран и увидел сон. Должно быть, не одну месячку во сне видел, потому что проснулся тревожный и долго глазами чего-то искал.

Стал он припоминать, что такое случилось; но, хоть убей, ничего вспомнить не мог. Даль какая-то, серебряным светом подернутая, и больше ничего. Только смутное ощущение этой бесформенной серебряной дали и осталось в нем, но никакого определенного очертания, ни одного живого образа...

– Овца! а овца! что я такое во сне видел? – спросил он лежащую рядом овцу, которая, яко воистину овца, отроду снов не видала.

– Спи, выдумщик! – сердито отвечала овца, – не для того тебя из-за моря привезли, чтоб сны видеть да модника из себя представлять!

Баран был породистый английский меринос. Помещик Иван Созонтыч Растаковский шальные деньги за него заплатил и великие на него надежды возлагал. Но, конечно, не для того он его из-за моря вывез, чтоб от него поколение умных баранов пошло, а для того, чтоб он создал для своего хозяина стадо тонкорунных овец.

И в первое время по приезде его на место баран действительно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Ни о чем он не рассуж-

дал, ничем не интересовался, даже не понимал, куда и зачем его привезли, а просто-напросто жил да поживал. Что же касается до вопроса о том, что такое баран и какие его права и обязанности, то баран не только никаких пропаганд по этому предмету не распространял, но едва ли даже подозревал, что подобные вопросы могут бараньи головы волновать. Но это-то именно и помогало ему выполнять баранье дело настолько пунктуально и добросовестно, что Иван Созонтыч и сам нарадоваться на него не мог, и соседей любоваться водил: «Смотрите!»

И вдруг этот сон... Что это был за сон, баран решительно не мог сообразить. Он чувствовал только, что в существование его вторглось нечто необычное, какая-то тревога, тоска. И хлев у него, по-видимому, тот же, и корм тот же, и то же стадо овец, предоставленное ему для усовершенствования, а ему ни до чего как будто бы дела нет. Бродит он по хлеву как потерянный и только и дела блеёт:

– Что такое я во сне видел? растолкуйте мне, что такое я видел?

Но овцы не выказывали ни малейшего сочувствия к его тревогам и даже не без ядовитости называли его умником и философом, что, как известно, на овечьем языке имеет значение худшее, нежели «моветон».

С тех пор, как он начал сны видеть, овцы с горечью вспоминали о простом, шлёнской породы, баране, который перед тем четыре года сряду ими помыкал, но под конец, за выслугу лет, был определен на кухню и там без вести пропал (видели только, как его из кухни на блюде, с триумфом, в господский дом пронесли). То-то был настоящий служилый баран! Никогда никаких снов он не видел, никаких тревог не ощущал, а делал свое дело по точному разуму бараньего устава – и больше ничего знать не хотел. И что же! его, старого и испытанного слугу, уволили, а на его место определили какого-то празднолюбца, мечтателя, который с утра до вечера неведомо о чем блеёт, а они, овцы, между тем ходят яловы!

– Совсем нас этот агleckой олух не совершенствует! – жаловались овцы овчару Никите, – как бы нам за него, за фофана, перед Иваном Созонтычем в ответе не быть?

– Успокойтесь, милые! – обнадежил их Никита, – завтра мы его выстрижем, а потом крапивой высечем – шелковый будет!

Однако расчеты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высекли, а он в ту же ночь опять сон увидел.

С этих пор сны не покидали его. Не успеет он ноги под себя подогнуть, как дрема уже сторожит его, не разбирая, день или ночь на дворе.

И как только он закроет глаза, то весь словно преобразится, и лицо у него словно не баранье делается, а серьезное, строгое, как у старого, благомысленного мужичка из тех, что в старинные годы «министрами» называли. Так что всякий, кто ни пройдет мимо, непременно скажет: «Не на скотном дворе этому барану место – ему бы бурмистром следовало быть!»

Тем не менее, сколько он ни подстерегал себя, чтобы восстановить в памяти только что виденный сон, усилия его по-прежнему оставались напрасными.

Он помнил, что во сне перед ним проходили живые образы и даже целые картины, созерцание которых приводило его в восторженное состояние; но как только бодрственное состояние возвращалось, и образы и картины исчезали неведомо куда, и он опять становился заурядным бараном. Вся разница заключалась лишь в том, что прежде он бодро шел навстречу своему бараньему делу, а теперь ходил ошеломленный, чего-то, сдуру, искал, а чего именно – сам себе объяснить не мог... Баран, да еще меланхолик – что, кроме ножа, может ожидать его в будущем?!

Но, кроме перспективы ножа, положение барана и само по себе было мучительно. Нет боли горшей, нежели та, которую приносят за собой бессильные порывания от тьмы к свету встревоженной бессознательности. Пристигнутое внезапной жаждой бесформенных чаяний, бедное, подавленное существо мечется и изнемогает, не умея определить ни характера этих чаяний, ни источника их. Оно чувствует, что сердце его объято пламенем, и не знает, ради чего это пламя зажглось; оно смутно чувствует, что мир не оканчивается стенами хлева, что за этими стенами открываются светлые, радужные перспективы, и не умеет наметить даже признаки этих перспектив; оно предчувствует свет, простор, свободу – и не может дать ответа на вопрос, что такое свет, простор, свобода...

По мере учащения снов волнение барана все больше и больше росло. Ниоткуда не видел он ни сочувствия, ни ответа. Овцы с испугу жаллись друг к другу при его приближении; овчар Никита хотя, по-видимому, и знал нечто, но упорно молчал. Это был умный мужик, который до тонкости проник баранье дело и признавал для баранов только одну обязательную аксиому.

– Коли ты в бараньем сословии уродился, – говорил он солидно, – в ём, значит, и живи!

Но именно этого-то баран и не мог выполнить. Именно «сословие»-то его и мучило, не потому, что ему худо было жить, а потому, что с тех пор, как он стал сны видеть, ему постоянно чувствовалось какое-то совсем другое «сословие».

Он не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею.

Тем не менее, с течением времени, тревоги его начали утихать, и он как будто даже остепенел. Но успокоение это не было последствием трезвого решения вступить на прежнюю баранью колею, а, напротив, скорее, свидетельствовало об общем обессилении бараньего организма. Поэтому и пользы от него не вышло никакой.

Баран – очевидно, с предвзятым намерением – с утра до вечера спал, как будто искал обрести во сне те сладостные ощущения, в восстановлении которых отказывала ему бодрственная действительность...

В то же время он с каждым днем все больше и больше чах и хирел, и наконец сделался до того поразительно худ, что глупые овцы, завидев его, начинали чихать и насмешливо между собой перешептываться. И по мере того как неразгаданный недуг овладевал им, лицо его становилось осмысленнее и осмысленнее. Овчары все до единого жалели о нем. Все знали, что он честный и добрый баран, и что ежели он не оправдал хозяйских надежд, то не по своей вине, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастье, вовсе баранам не свойственное, но в то же время, – как многие инстинктивно догадывались, – делающее ему лично великую честь.

Сам Иван Созонтыч сочувственно относился к страданиям барана. Не раз овчар Никита намекал, что самая лучшая развязка в таком загадочном деле – нож, но Растаковский упорно отклонял это предложение.

– Плакали мои денежки, – говорил он, – но не затем я их платил, чтобы шкурой его воспользоваться. Пускай своей смертью умрет!

И вот возжеланный момент просияния наступил. Над полями мерцала теплая, облитая лунным светом июньская ночь; тишина стояла кругом непробудная; не только люди притаились, но и вся природа как бы застыла в волшебном оцепенении.

В бараньем загоне все спало. Овцы, понури-

головы, дремали около изгороди. Баран лежал одиноко, посередке загона. Вдруг он быстро и тревожно вскочил. Выпрямил ноги, вытянул шею, поднял голову кверху и всем телом дрогнул. В этом выжидающем положении, как бы прислушиваясь и всматриваясь, простоял он несколько минут, и затем сильное, потрясающее блянные вырвалось из его груди...

Заслышав эти торжественно-агонизирующие звуки, овцы в испуге повскакали с своих мест и шарахнулись в сторону. Сторожевой пес тоже проснулся и с лаем бросился приводить в порядок всполошившееся стадо. Но баран уже не обращал внимания на происшедший переполох: он весь ушел в созерцание.

Перед тускнеющим его взором воочию развернулась сладостная тайна его снов...

Еще минута – и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под ним, и он мертвый рухнул на землю.

Иван Созонтыч был очень смертью его огорчен.

– И что за причина такая? – сетовал он вслух, – все был баран как баран, и вдруг словно его осенило... Никита! ты пятьдесят лет в овчарах состоишь, стало быть, должен дурью эту породу знать: скажи, отчего над ним такая беда стряслась?

– Стало быть, «вольного барана» во сне увидел, – ответил Никита, – увидеть-то во сне увидел, а сообразить настоящим манером не мог... Вот он сначала затосковал, а со временем и издох. Все равно, как из нашего брата бывает...

Но Иван Созонтыч от дальнейшего объяснения уклонился.

– Сие да послужит нам уроком! – похвалил он Никиту, – в другом месте из этого барана, может быть, козел бы вышел, а по нашему месту такое правило: ежели ты баран, так и оставайся бараном без дальних затей. И хозяину будет хорошо, и тебе хорошо, и государству приятно. И всего у тебя будет довольно: и травы, и сена, и мясочки. И овцы к тебе будут ласковы... Так ли, Никита?

– Это так точно, Иван Созонтыч! – отозвался Никита.

1885

Коняга

Коняга лежит при дороге и тяжело дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но Коняге не до корма. Полоса вы-

бралась трудная, с камешком: в великую силу они с мужиком ее одолели.

Коняга – обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит понуро; грива на шее у него свалаялась; из глаз и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-деньской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, «произведения» возит.

А силы Коняге набраться неоткуда: такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживится, а зимой перевозит на базар «произведения» и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают; а в поле ни травинки нет; кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел.

Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле: «Ну, милый, упирайся!» – услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними – забирает, морду к груди пригнет. «Ну, каторжный, вывози!» А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец – и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть – и Коняге и мужику; каждый день смерть.

Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит; юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленющие, обнаженные – они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек, вдали идет; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет.

Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет.

Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей быются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало, – той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи.

Лежит Коняга на самом солнечном припеке; кругом ни деревца, а воздух до того накалился, что дыхание в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он – только ушами автоматически вздрагивает от укулов. Дремлет ли Коняга, или помирает – нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что все нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе Бог бессловесной животине отказал.

Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой все дальше и дальше в бездонную глубь.

Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперек, и все-таки ему конца-краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном – оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас – опять народилось. Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель – Коняга. Для всех поле раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно – кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: «Ну, милый! ну, каторжный! ну!»

Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз... Для всех природа – мать, для него одного она – бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение – отравой. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию – бедный Коняга знает о нем только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь.

Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая исходит из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его – никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несет это иго – он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди – не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа.

Самая жизнь Коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде все он, все один и тот же, безымянный Коняга. Целая масса живет в нем, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нет конца жизни – только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? зачем

она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идет? – вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее... Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.

Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто, с первого взгляда, не скажет, что Коняга и Пустопляс – одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло.

Жил, во времена оны, старый конь, и было у него два сына: Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а Коняга – неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик Конягину неотесанность, долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но наконец рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя воля: Коняге – солома, а Пустоплясу – овес». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и пшена ему в ясли засыпали; а Конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы: «Хлопай зубами, Коняга! А пить – вон из той лужи».

Совсем было позабыл Пустопляс, что у него братец на свете живет, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. «Надоело, говорит, мне стойло теплое, прискучила сыта медовая, не лезет в горло пшено ярое; пойду, проведаю, каково-то мой братец живет!»

Смотрит – ан братец-то у него бессмертный! Бьют его чем ни попадя, а он живет; кормят его соломою, а он живет! И в какую сторону поля ни взгляни, везде все братец орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом – он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не может!

И вот начали пустоплясы кругом Коняги похаживать.

Один скажет:

– Это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смирнехонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой. Будь здоров, Коняга! Делай свое дело, бди!

Другой возразит:

– Ах, совсем не от здравого смысла так проч-

но сложилась его жизнь! Что такое здравый смысл? Здравый смысл, это – нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит! И покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит!

Третий молвит:

– Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь духа, дух жизни – что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому, что он «настоящий труд» для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своей личною совестью, и с совестью масс, и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! упирайся, загребай! и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда.

А четвертый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет:

– Ах, господа, господа! все-то вы пальцем в небо попадаете! Совсем не оттого нельзя Конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а оттого, что он покоен веку к своей юдоли привычен. Теперича хоть целое дерево об него обломай, а он все жив. Вон он лежит – кажется, и духу-то в нем нисколько не осталось, – а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калек этаких, по полю разбрелось – и все как один. Калечьте их теперича сколько угодно – их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас – его нет, а сейчас – он опять из-под земли выскочил.

И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами:

– Н-но, каторжный, шевелись!

Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется.

– Смотрите-ка, смотрите-ка! – закричат они вкупе и влюбе, – смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно дело мастера боится! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! вот кому надо подражать! Н-но, каторжный, н-но!

Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на веревочке на солнце: пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался.

И стала вобла жить да поживать⁸.

– Как это хорошо, – говорила вяленая вобла, – что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести – ничего такого не будет! Все у меня лишнее выветрили, вычистили и вывалили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!

Что бывают на свете лишние мысли, лишняя совесть, лишние чувства – об этом, еще живучи на воле, вобла слышала. И никогда, признаться, не завидовала тем, которые такими излишками обладали. От рождения она была вобла степенная, не в свое дело носа не совала, за «лишним» не гналась, в эмпириях не витала и неблагонадежных компаний удалялась. Еще где, бывало, слышит, что пискари об конституциях болтают, – сейчас налево кругом и под лопух схоронится. Однако же, и за всем тем, не без страху жила, потому что не ровен час, вдруг... «Мудреное нынче время! – думала она, – такое мудреное, что и невинный за виноватого как раз сойдет! Начнут, это, шарить, а ты около где-нибудь спряталась, – ан и около пошарят! Где была? по какому случаю? каким манером? – господи, спаси и помилуй!» Стало быть, можете себе представить, как она была рада, когда ее изловили и все мысли и чувства у ней выхолостили! «Теперь милости просим! – торжествовала она, – когда угодно и кто угодно приходи! теперь у меня все доказательства налицо!»

Что именно разумела вяленая вобла под названием «лишних» мыслей и чувств – неизвестно, но что, действительно, на наших глазах много лишнего завелось – с этим и я не согласиться не могу. Сущности этого лишнего никто еще не называл по имени, но всякий смутно чувствует, что куда ни обернись – везде какой-то привесок выглядывает. И хоть ты что хочешь, а надобно этот привесок или в расчет принять, или так его обойти, чтобы он и не подумал, что его надувают. Все это порождает

⁸ Я знаю, что в натуре этого не бывает, но так как из сказки слова не выкинешь, то, видно, быть этому делу так (Прим.авт.)

тému новых забот, осложнений и беспокойств вообще. Хочется, по-старинному, напрямик пройти, а напрямик буреломом завалило, промжинами исковеркало – ну, и ступай за семь верст киселя есть. Всякий партикулярный человек нынче эту тягость уж сознает, а какое для начальства от того отягощение – этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Штаты-то старинные, а дела-то новые; да и в штатах-то в самых уж привески завелись. Прежде у чиновника-то чугунная поясница была: как сел на место в десять часов утра, так и не встает до четырех – все служит! А нынче придет он в час, уж позавтракавши; час папироску курит, час куплеты напевает, а остальное время – так около столов колобродит. И тайны канцелярской совсем не держит. Начнет одно дело перелистывать: «Посмотрите, какой курьез!» – за другое возьмется: «Глядите! ведь это – отдай все, да и мало!» Наберет курьезов с три короба да к Палкину обедать. А как ты удержишься, чтобы курьезом стен Палкина трактира не огласить! – Да ежели, я вам доложу, за каждую канцелярскую нескромность будет каторга обещана, так и тогда от нескромностей не уйти!

Спрашивается: с кем же тут начальству поднаться! У всех есть пособники, а у него нет; у всех есть укрыватели, а у него нет! Как тут остановить наплыв «лишнего» в партикулярном мире, когда в своей собственной цитадели, куда ни вскинь глазами, – везде лишнее да неподлежащее так и хлещет через край!

Трудно, ах, как трудно среди этой массы привесков жить! приходится всю дорогу ощупью идти. Думаешь, что настоящее место нашарил, а оказывается, что шарил «около». Бесплезно, бесплодно, жестоко, срамно. Положим, что невелика беда, что невиноватый за виноватого сошел – много их, невиноватых-то этих! сегодня он не виноват, а завтра кто ж его знает? – да вот в чем настоящая беда: подлинного-то виноватого все-таки нет! Стало быть, и опять нащупывать надо, и опять – мимо! В том все время и проходит. Понятно, что даже самые умудренные партикулярные люди (те, которые сальных свечей не едят и стеклом не утираются) – и те стали в тупик! И так как на ежа голым телом никому неохота садиться, то всякий и вопиет: «Господи! пронеси!»

Нет, как хотите, а надо когда-нибудь эти привески счесть, да и присмотреться к ним. Узнать: откуда они пришли? зачем? куда пролезть хотят? Не все же нахалом вперед лезут – иное что и полезное сыщется.

Очень, впрочем, возможно, что вобле эти вопросы и на ум совсем не приходили. Однако повторяю: и она, вместе с прочими, чувствовала, что или от привесков, или по поводу привесков – ей всячески мат. И только тогда, когда ее на солнце хорошенько провялило и выветрило, когда она убедилась, что внутри у нее ничего, кроме молока, не осталось, – только тогда она ободрилась и сказала себе: «Ну, теперь мне на все наплевать!»

И точно: теперь она, даже против прежнего, сделалась солиднее и благонадежнее. Мысли у ней – резонные, чувства – никого не задевающие, совести – на медный пятак. Сидит себе с краю и говорит, как пишет. Нищий к ней подойдет – она оглянется, коли есть посторонние – сунет нищему в руку грошик; коли нет никого – кивнет головой: бог подаст! Встретится с кем-нибудь – непременно в разговор вступит; откровенно мнение свое выскажет и всех основательностью восхитит. Не рвется, не мечется, не протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь, дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь – людей насмешишь и т. п. А всего больше о том, что уши выше лба не растут.

– Ах, воблушка! как ты скучно на бобах разводишь! точно тебя тошнит! – воскликнет себе-седник, ежели он из свеженьких.

– И всем скучно сначала, – стыдливо ответит воблушка. – Сначала – скучно, а потом – хорошо. Вот как поживешь на свете, да пошарят около тебя вдоволь – тогда и об воблушке вспомнишь, скажешь: «Спасибо, что уму-разуму учила!»

Да нельзя и не сказать спасибо, потому что, ежели по правде рассудить, так именно только одна воблушка в настоящую центру попала. Бывают такие обстановочки, когда подлинного ума-разума и слыхом не слыхать, а есть только воблушкин ум-разум⁹. Люди ходят, как сонные, ни к чему приступить не умеют, ничему не радуются, ничем не печалются. И вдруг в ушах раздается успокоительно-соблазнительный шепот: «Потихоньку да полегоньку, двух смертей не бывает, одной не миновать...» Это она, это воблушка шепчет! Спасибо тебе, воблушка! правду ты молвила: двух смертей не бывает, а одна искони за плечами ходит!

Не явись на выручку воблушка, одно бы оста-

⁹ Советы вяленой воблы иносказательно отражают упадок общественного сознания в обстановке политической реакции 80-х годов, когда «широкий простор для применений получила «теория малых дел» («воблушкина доктрина»).

лось – пропасть. Но она не только на убежище указала, а целую цитадель создала. Да не такую цитадель, в которой сидят озорники да курьезы подыскивают, а заправскую цитадель, при взгляде на которую и мысли о брешах никому не придет! Вот уж там-то все шито да крыто, там-то уж ни о каких привесках и слыхом не слыхать! Есть захотелось – ешь! спать вздумалось – спи! Ходи, сиди, калякай! К этому-то и привесить-то ничего нельзя. Будь счастлив – только и всего.

И сам будешь счастлив, и те, которые около тебя, – все будете счастливы! Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет. Спите, други, почивайте! И на шаривать около вас не для чего, потому что везде путь торный и все двери настежь. «Вперед без страха и сомненья!»¹⁰, или, говоря другими словами, шествуй в надлежащее место!

– И откуда у тебя, воблушка, такая ума палата? – спрашивают ее благодарные пискари, которые, по милости ее советов, неискалеченными остались.

– От рожденья бог меня разумом наградил, – скромно отвечает воблушка, – а сверх того, и во время вяленья мозг у меня в голове выветрился... С тех пор и начала я умом раскидывать...

И действительно: покуда наивные люди в эмпиреях витают, а злецы ядом передовых статей жизнь отравляют, воблушка только умом раскидывает и тем пользу приносит. Никакие клеветы, никакое человеконенавистничество, никакие змеинные передовые статьи не действуют так воспитательно, как действует скромный воблушкин пример. «Уши выше лба не растут!» – ведь это то самое, о чем древние римляне говорили: «Respite finem!»¹¹. Только более нам ко двору.

Хороша клевета, а человеконенавистничество еще того лучше, но они так сильно в нос бьют, что не всякий простец вместить их может. Все кажется, что одна половина тут наподлена, а другая – налгана. А главное, конца краю не видать. Слушаешь или читаешь и все думаешь: «Ловко-то ловко, да что же дальше?» – а дальше опять клевета, опять яд... Вот это-то и смущает. То ли дело скромная воблушкина резонность? «Ты никого не тронь – и тебя никто

не тронет!» – ведь это целая поэма! Тускленька, правда, эта пресловутая резонность, но посмотрите, как цепко она человека нащупывает, как аккуратно его обшлифовывает! Сначала клевета поизмучает, потом хлевный яд одурманит, и когда процесс мучительства завершит свой цикл, когда человек почувствует, что нет во всем его организме места, которое бы не ныло, а в душе нет иного ощущения, кроме безграничной тоски, – вот тогда и выступает воблушка с своими скромными афоризмами. Она бесшумно подкрадывается к искалеченному и безболезненно додурманивает его. И, приведя его к стене, говорит: «Вон сколько каракуль там написано; всю жизнь разбирай – всего не разберешь!»

Смотри на эти каракули, и ежели есть охота – доискивайся их смысла. Тут все в одно место скучено: и заветы прошлого, и яд настоящего, и загадки будущего. И над всем лег густой слой всякого рода грязи, погадок, внешних потоков и следов непогод. А ежели разбираться в каракулях охоты нет, то тем еще лучше. Верь на слово, что суть этих каракуль может быть выражена в немногих словах: выше лба уши не растут. И затем – живи.

Все это отлично поняла вяленая вобла, или, лучше сказать, не сама она поняла, а принес ей это понимание тот процесс вяления, сквозь который она прошла. А впоследствии время и обстоятельства усыновили ее и дали широкий простор для применений.

Все поприща поочередно открывались перед ней, и на всяком она службу сослужила. Везде она свое слово сказала, слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, что, по обстоятельствам, лучше не надо.

Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на канцелярской тайне да на округлении периодов настаивала. «Главное, – твердила она, – чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» И всем, действительно, сделалось ясно, что именно это и надо. Что же касается до округления периодов, то воблушка резонно утверждала, что без этого никак следы замести нельзя. На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них – это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопрочнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни, и с другой забеги; умей «к сожалению, сознать-

¹⁰ Начальная строка стихотворения А. Н. Плещеева, ставшая студенческой песней, иронически используется Салтыковым-Щедринным.

¹¹ Подумай о последствиях! (лат.) – крылатое выражение античности; полный текст афоризма: «Quidquid agis, prudenter agis et respice finem» («Что бы ты ни делал, делай разумно и обдумывай результат»).

ся» и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнuzданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожденная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем – не загадывать.

Забралась вяленая вобла в ряды «излюбленных»¹² – и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели: «Мы-ста, да вы-ста... повергнуть наши умные мысли к стопам!» Только и слов. А воблушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя: «Моя речь еще впереди». И действительно: раз повергли, в другой – повергли, в третий – опять было повергнуть собрались, да концов с концами свести не могут. Один кричит: «Мало!», другой перекрикивает: «Много!», а третий прямо бунт объявляет: «Едем, братцы, прямо...» – так вас и пустили! Вот тут-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохло, и говорит: «Повергать, говорит, мы тогда можем, коли нас спрашивают, а ежели нас не спрашивают, то должны мы сидеть смирно и получать присвоенное содержание». – «Как так? почему?» – «А потому, – говорит, – что так исстари заведено: коли спрашивают – повергай! а не спрашивают – сиди и памятуй, что выше лба уши не растут!» И вдруг от этих простых воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить воблушку и дивиться ее уму-разуму.

– Откуда у тебя такая ума палата взялась? – обступили ее со всех сторон, – ведь кабы не ты, мы, наверное бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились!

А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла:

– Оттого я так умна, что своевременно меня проявили. С тех пор меня точно свет осиял: ни лишних чувств, ни лишних мыслей, ни лишней совести – ничего во мне нет. Об одном всечасно и себе, и другим твержу: не растут уши выше лба! не растут!

– Правильно! – согласились излюбленные люди и тут же раз навсегда постановили: – Коли спрашивают – повергать! а не спрашивают – сидеть и получать присвоенное содержание...

Каковое правило соблюдается и доньше.

Пробовала вяленая вобла и заблуждения человеческие судить – и тоже хорошо у ней вышло. Тут она наглядным образом доказала, что ежели

лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору. Лишняя совесть наполняет сердца робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судье: «Проверь самого себя!» А ежели у кого совесть, вместе с прочей требухой, из нутра вычистили, у того робости и в заводе нет, а зато камней – полна пазуха. Смотрит себе вяленая вобла, не сморгнувши, на заблуждения человеческие, и знай себе камешками пошвыривает. Каждое заблуждение у ней под номером значится и против каждого камешек припасен – тоже под номером. Остается только нелицеприятную бухгалтерию вести. Око за око, номер за номер. Ежели следует искалечить полностью – полностью искалечь: сам виноват! Ежели следует искалечить в частности – искалечь частицу: вперед наука! И так она этою своею резонностью всем понравилась, что скоро про совесть никто и вспомнить без смеха не мог...

Но больше всего была богата последствиями добровольческая воблушкина деятельность по распространению здравых мыслей в обществе. С утра до вечера неуставаючи ходила она по градам и весям и все одну песню пела: «Не расти ушам выше лба! не расти!» И не то чтоб с азартом пела, а солидно, рассудительно, так что и рассердиться на нее было не за что. Разве что вгорячах кто крикнет: «Ишь, паскуда, распелась!» – ну да ведь в деле распространения здравых мыслей без того нельзя, чтоб кто-нибудь паскудой не обругал...

Вяленая вобла, впрочем, не смущалась этими напутствиями. Она не без основания говорила себе: «Пускай сначала к голосу моему привыкнут, а затем я своего уж добьюсь...»

Надо сказать правду: общество, к которому обращались поучения воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нем и убежденные люди, но более преобладал пестрый человек¹³. Это, положим, и везде так бывает, но в других местах для убежденных людей выдаются изрядные светлые промежутки, а тут они – коротенькие. Извольте-ка в одночасье всю эту массу пестрых людей на правую стезю поставить, извольте добиться, чтоб они усвоили

¹² В обычном праве – выбранные на общественную должность.

¹³ В ноябре 1884 года в «Вестнике Европы» (впервые после закрытия «Отечественных записок») Салтыков-Щедрин начинает печатать «Пестрые письма». В IX письме он дал следующую характеристику «пестрым людям»: «Общий признак, по которому можно отличать пестрых людей, состоит в том, что они совесть свою до дыр износили... Всем они в течение своей жизни были: и поборниками ежовой рукавицы, и либералами, и западниками, и народниками, даже «сицилистами», как теперь говорят» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20 томах, т. 16, кн. I, с. 376)

себе представление о своем праве на жизнь, да не машинально только усвоили, а с тем, чтобы, в случае надобности, и защитить это право уметь. Утвердительно можно сказать, что это задача мучительная. А между тем сколько, во имя ее, погубляется жизнью, сколько проливается поту и крови, сколько передумывается скорбных и тяжелых дум! И ежели в результате этих усилий блеснет одна-единственная минута радости (вдобавок, мнимой), то это уже награда, которая считается достаточной, чтобы оправдать целые годы последующих отрав...

А кроме того, и время стояло смутное, неверное и жестокое. Убежденные люди надрывались, мучались, метались, вопрошали и, вместо ответа, видели перед собой запертую дверь. Пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время нюхали в воздухе, чем пахнет. Пахло не хорошо; ощущалось присутствие железного кольца, которое с каждым днем все больше и больше стягивалось. «Кто-то нас выручит? кто-то подходящее слово скажет?» – ежемгновенно тосковали пестрые люди и были рады-радехоньки, когда в ушах их раздались отрезвляющие звуки.

Наступает короткий период задумчивости: пестрые люди уже решились, но еще стыдятся. Затем пестрая масса начинает мало-помалу волноваться. Больше, больше, и вдруг вопль: «Не растут уши выше лба! не растут!»

Общество отрезвилось. Это зрелище поголовного освобождения от лишних мыслей, лишних чувств и лишней совести до такой степени умиротворительно, что даже клеветники и человеконенавистники на время умолкают. Они вынуждены сознаться, что простая вобла, с проявленными молоками и выветрившимся мозгом, совершила такие чудеса консерватизма, о которых они и гадать не смели. Одно утешает их: что эти подвиги подъяты воблой под прикрытием их человеконенавистнических воплей. И если б они не взывали к посредничеству ежовых рукавиц, если б не угрожали согнутием в бараний рог – могла ли бы вобла с успехом вести свою мирно-возрожденческую пропаганду? Не заклевали бы ее? не насмеялись ли бы над нею? И, наконец, не перспектива ли скорпионов и ран, ежеминутно ими, клеветниками, показываемая, повлияла на решение пестрых людей?

Некоторые из клеветников даже устраивали на всякий случай лазейку. Хвалить хвалили, но камень за пазухой все-таки приберегали. «Прекрасно, – говорили они, – мы с удовольствием допускаем, что общество отрезвилось,

что химера упразднена, а на место ее вступила в свои права здоровая, неподкрашенная жизнь. Но надолго ли? но прочно ли наше отрезвление – вот вопрос. В этом смысле мирный характер, который ознаменовал процесс нашего возрождения, наводит на очень серьезные мысли. До сих пор мы знали, что заблуждения не так-то легко полагают оружие даже перед очевидностью совершившихся фактов, а тут вдруг, нежданно-негаданно, благодаря авторитету пословицы, – положим, благонамеренной и освященной вековым опытом, но все-таки не более как пословицы, – является радикальное и повсеместное отрезвление! Полно, так ли это? искренно ли состоявшееся на наших глазах обращение? не представляет ли оно искусного компромисса или временного *modus vivendi*¹⁴, допущенного для отвода глаз? И нет ли в самых приемах, которыми сопровождалось возрождение, признаков того легковесного либерализма, который, избегая такие испытанные средства, как ежовые рукавицы, мечтает кроткими мерами разогнать тяготеющую над нами хмару? Не забывается ли при этом слишком легко, что общество наше есть не что иное, как разношерстный и бесхарактерный агломерат всевозможных веяний и наслоений и что с успехом действовать на этот агломерат можно лишь тогда, когда разнообразные элементы, его составляющие, предварительно приведены к одному знаменателю?»

Как бы то ни было, но настоящий, здоровый тон был найден. Сперва его в салонах усвоили; потом он в трактиры проник, потом... Дамочки радовались и говорили: «Теперь у нас балы начнутся». Гостинодворцы развешивали материи и ожидали оживления промышленности.

Оставалось одно: отыскать настоящее, здоровое «дело», к которому можно было бы «здоровый» тон применить.

Однако тут совершилось нечто необыкновенное. Оказалось, что до сих пор у всех на уме были только ежовые рукавицы, а об деле так мало думали, что никто даже по имени не мог его назвать. Все говорят охотно: «Надо дело делать», но какое – не знают. А вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы и самодовольно выкрикивает: «Не растут уши выше лба! не растут!»

– Помилуй, воблушка! да ведь это только «тон», а не «дело», – возражают ей, – дело-то какое нам предстоит, скажи!

Но она заладила одно и ни пяди уступить не

¹⁴ Осуществования. (лат.).

согласна! Так ни от кого насчет дела ничего и не узнали.

Но, кроме того, тут же сбоку выскочил и другой вопрос: а что, если настоящее дело наконец и откроется – кто же его делать-то будет?

– Вы, Иван Иванович, будете дело делать?

– Где мне, Иван Никифорович! Моя изба с краю... вот разве вы¹⁵... – Что вы! что вы! да разве я об двух головах! ведь я, батюшка, не забыл...

И таким образом все. У одного – изба с краю, другой – не об двух головах, третий – чего-то не забыл... все глядят, как бы в подворотню проскочить, у всех сердце не на месте и руки – как плети...

«Уши выше лба не растут!» – хорошо это сказано, сильно, а дальше что? На стене каракули-то читать? – положим, и это хорошо, а дальше что? Не шевельнуться, не пикнуть, носа не совать, не рассуждать? – прекрасно и это, а дальше что?

И чем старательнее выводились логические последствия, вытекающие из воблушкиной доктрины, тем чаще и чаще становился поперек горла вопрос: «А дальше что?»

Ответить на этот вопрос вызвались клеветники и человеконенавистники.

«Само по себе взятое, – говорили и писали они, – учение, известное под именем доктрины вяленой воблы, не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадежным. Но дело не в доктрине и ее положениях, а в тех приемах, которые употреблялись для ее осуществления и насчет которых мы, с самого начала, предостерегали тех, кому ведать о сем надлежит. Приемы эти были положительно негодны, как это уже и оказалось теперь. Они носили на себе клеймо того же паскудного либеральничанья, которое уже столько раз приводило нас на край бездны. Так что ежели мы еще не находимся на дне оной, то именно только благодаря здравому смыслу, искони лежавшему в основании нашей жизни. Пускай же этот здравый смысл и теперь сослужит нам свою обычную службу. Пусть подскажет он всем, серьезно понимающим интересы своего отечества, что единственный целесообразный прием, при помощи которого мы можем прийти к какому-нибудь

результату, представляют ежовые рукавицы. Об этом напоминают нам предания прошлого; о том же свидетельствует смута настоящего. Этой смуты не было бы и в помине, если б наши предостережения были своевременно выслушаны и приняты во внимание. «Caveant consules!»¹⁶ – повторяем мы и при этом прибавляем для не знающих по-латыни, что в русском переводе выражение это значит: не зевай!»

Таким образом, оказалось, что хоть и проявили воблу, и внутренности у нее вычистили, и мозг выветрили, а все-таки, в конце концов, ей пришлось распоясываться. Из торжествующей она превратилась в заподозренную, из благонамеренной – в либералку. И в либералку тем более опасную, чем благонадежнее была мысль, составлявшая основание ее пропаганды.

И вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу под жабры, откусил у нее голову, содрал шкуру и у всех на виду слопал...

Пестрые люди смотрели на это зрелище, плевали руками и вопили: «Да здравствуют ежовые рукавицы!» Но История взглянула на дело иначе и втайне положила в сердце своем: «Годиков через сто я непременно все это тисну!»

Верный Трезор

Служил Трезорка сторожем при лабазе московского 2-й гильдии купца Воротилова и недреманным оком хозяйское добро сторожил. Никогда от конуры не отлучался; даже Живодерки, на которой лабаз стоял, настоящим образом не видал: с утра до вечера так на цепи и скачет, так и заливается! Caveant consules!¹⁷

И премудрый был, никогда на своих не лалял, а все на чужих. Пройдет, бывало, хозяйский кучер овес воровать – Трезорка хвостом машет, думает: «Много ли кучеру нужно!» А случится прохожему по своему делу мимо двора идти – Трезорка еще где заслышит: «Ах, батюшки, воры!»

Видел купец Воротилов Трезоркину услугу и говорил: «Цены этому псу нет!» И ежели случилось в лабаз мимо собачьей конуры проходить, непременно скажет: «Дайте Трезорке помоев!» А Трезорка из кожи от восторга лезет: «Рады стараться, ваше степенство!.. хам-ам! почивай-

¹⁵ Для Салтыкова-Щедрина свойственно использовать литературные типы других писателей (лермонтовского Печорина, персонажей «Горя от ума» Грибоедова, героев Фонвизина, Тургенева, в данном случае – гоголевских персонажей «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

¹⁶ Пусть будут бдительны консулы! (лат.)

¹⁷ Пусть будут бдительны консулы! (лат.)

те, ваше степенство, спокойно... хам... ам... ам... ам!»

Однажды даже такой случай был: сам частный пристав к купцу Воротилову на двор пожаловал – так и на него Трезорка воззрился. Такой содом поднял, что и хозяин, и хозяйка, и дети – все выбежали. Думали, грабят; смотрят – ан гость дорогой!

– Вашескородие! милости просим! Цыц, Трезорка! Ты это что, мерзавец? не узнал? а? Ваше-скородие! водочки! закусить-с.

– Благодарю. Прекраснейший у вас песик, Никанор Семеныч! благонамеренный!

– Такой пес! такой пес! Другому человеку так не понять, как он понимает!

– Собственность, значит, признает; а это, по нынешнему времени, ах как приятно!

И затем, обернувшись к Трезорке, присовокупил:

– Лай, мой друг, лай! Нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет, – и тот по-песьему лаять обязывается!

Три раза Воротилов Трезорку искушал, прежде чем вполне свое имущество доверил ему. Нарядился вором (удивительно, как к нему этот костюм шел!), выбрал ночь потемнее и пошел в амбар воровать. В первый раз корочку хлеба с собой взял, – думал этим его соблазнить, – а Трезорка корочку обнюхал, да как вцепится ему в икру! Во второй раз целую колбасу Трезорке бросил: «Пиль, Трезорушка, пиль!» – а Трезорка ему фалду оторвал. В третий раз взял с собой рублевую бумажку замасленную – думал, на деньги пес пойдет; а Трезорка, не будь прост, такого трезвону поднял, что со всего квартала собаки сбежались: стоят да дивуются, с чего это хозяйский пес на своего хозяина заливается?

Тогда купец Воротилов собрал домочадцев и при всех сказал Трезорке:

– Препоручаю тебе. Трезорка, все мои потроха; и жену, и детей, и имущество – стереги! Принесите Трезорке помоев!

Понял ли Трезорка хозяйскую похвалу, или уж сам собой, в силу собачьей природы, лай из него, словно из пустой бочки, валил – только совсем он с тех пор иссобачился. Одним глазом спит, а другим глядит, не лезет ли кто в подворотню; скакать устанет – ляжет, а цепью все-таки погромыхивает: «Вот он я!» Накормить его позабудут – он даже очень рад: ежели, дескать, каждый-то день пса кормить, так он, чего доброго, в одну неделю разопсеет! Пинками его челядинцы наделают – он и в этом полезное

предостережение видит, потому что, ежели пса не бить, он и хозяина, того гляди, позабудет.

– Надо с нами, со псами, сурьезно поступать, – рассуждал он, – и за дело бей, и без дела бей – вперед наука! Тогда только мы, псы, настоящими псами будем!

Одним словом, был пес с принципами и так высоко держал свое знамя, что прочие псы – поглядят-поглядят, да и подожмут хвост – куды тебе!

Уж на что Трезорка детей любил, однако и на их искушения не сдавался. Подойдут к нему хозяйские дети:

– Пойдем, Трезорушка, с нами гулять!

– Не могу.

– Не смеешь?

– Не то что не смею, а права не имею.

– Пойдем, глупый! мы тебя потихоньку... никто и не увидит!

– А совесть?

Подожмет Трезорка хвост и спрячется в конуру, от соблазна подальше.

Сколько раз и воры сговаривались: «Поднесемте Трезорке альбом с видами Замоскворечья»; но он и на это не польстился.

– Не требуется мне никаких видов, – сказал он, – на этом дворе я родился, на нем же и старые кости сложу – каких еще видов нужно! Уйдите до греха!

Одна за Трезоркой слабость была; Кутьку крепко любил, но и то не всегда, а временно.

Кутька на том же дворе жила и тоже была собака добрая, но только без принципов. Полает и перестанет. Поэтому ее на цепи не держали, а жила она больше при хозяйской кухне и около хозяйских детей вертелась. Много она на своем веку сладких кусков съела и никогда с Трезоркой не поделилась; но Трезорка нимало за это на нее не претендовал: на то она и дама, чтобы сладенько поесть! Но когда Кутькино сердце начинало говорить, то она потихоньку взвизгивала и скреблась лапой в кухонную дверь. Заслышав эти тихие всхлипыванья, Трезорка, с своей стороны, поднимал такой неистовый и, так сказать, характерный вой, что хозяин, понимая его значение, сам спешил на выручку своего имущества. Трезорку спускали с цепи и на место его сажали дворника Никиту. А Трезорка с Кутькой, взволнованные, счастливые, убегали к Серпуховским воротам.

В эти дни купец Воротилов делался зол, так что когда Трезорка возвращался утром из экскурсии, то хозяин бил его арапником нещадно. И Трезорка, очевидно, сознавал свою вину, по-

тому что не подбегал к хозяину гоголем, как это делают исполнившие свой долг чиновники, а униженно и поджавши хвост подползал к ногам его; и не выл от боли под ударами арапника, а потихоньку взвизгивал: «Mea culpa! mea maxima culpa!»¹⁸. В сущности, он был слишком умен, чтобы не понимать, что, поступая таким образом, хозяин упускал из вида некоторые смягчающие обстоятельства; но в то же время, рассуждая логически, он приходил к заключению, что ежели его в таких случаях не бить, то непременно он разопсее.

Но что было особенно в Трезорке дорого, так это совершенное отсутствие честолюбия. Неизвестно, имел ли он даже понятие о праздниках и о том, что к праздникам купцы имеют обыкновение дарить верных своих слуг. Никаноры ли («сам» именинник), Анфисы ли («сама» именинница) на дворе – он, все равно что в будни, на цепи скачет!

– Да замолчи ты, постылый! – крикнет на него Анфиса Карповна, – знаешь ли, какой сегодня день?!

– Ничего, пусть лает! – пошутит в ответ Никанор Семеныч, – это он с ангелом поздравляет! Лай, Трезорушка, лай!

Только раз в нем проснулось что-то вроде честолюбия – это когда бодливой хозяйской корове Рохле, по требованию городского пастуха, колокол на шею привезли. Признаться сказать, позавидовал-таки он, когда она пошла по двору звонить.

– Вот тебе счастье какое; а за что? – сказал он Рохле с горечью, – только твоей и заслуги, что молока полведра в день из тебя надоят, а по-настоящему, какая же это заслуга! Молоко у тебя даровое, от тебя не зависящее: хорошо тебя кормят – ты много молока даешь; плохо кормят – и молоко перестанешь давать. Копыта об копыто ты не ударишь, чтобы хозяину заслужить, а вот тебя как награждают! А я вот сам от себя, *motu proprio*¹⁹, день и ночь маюсь, недоем, недосплю, инда осип от беспокойства, – а мне хоть бы гремушку кинули! Вот, дескать, Трезорка, знай, что услугу твою видят!

– А цепь-то? – нашлась Рохля в ответ.

– Цепь?!

Тут только он понял. До тех пор он думал, что цепь есть цепь, а оказалось, что это нечто вроде как масонский знак. Что он, стало быть, награжден уже изначально, награжден еще в то время, когда ничего не заслужил. И что отныне

ему следует только об одном мечтать: чтоб старую, проржавленную цепь (он ее однажды уже порвал) сняли и купили бы новую, крепкую.

А купец Воротилов точно подслушал его скромно-честолубивое вожеление: под самый Трезоркин праздник купил совсем новую, на диво выкованную цепь и сюрпризом прикрепал ее к Трезоркину ошейнику. «Лай, Трезорка, лай!»

И залился он тем добродушным, залившимся лаем, каким лают псы, не отделяющие своего собачьего благополучия от неприкосновенности амбара, к которому определила их хозяйская рука.

В общем, Трезорке жилось отлично, хотя, конечно, от времени до времени, не обходилось и без огорчений. В мире псов, точно так же, как и в мире людей, лесть, пронырство и зависть нередко играют роль, вовсе им по праву не принадлежащую. Не раз приходилось и Трезорке испытывать уколы зависти; но он был силен сознанием исполненного долга и ничего не боялся. И это вовсе не было с его стороны сомнением. Напротив, он первый готов был бы уступить честь и место любому новоявленному барбосу, который доказал бы свое первенство в деле непреборимости. Нередко он даже с тревогою подумывал о том, кто заступит его место в ту минуту, когда старость или смерть положит предел его нестомчивости... Но увы! во всей громадной стае измелъчавших и излаявшихся псов, населявших Живодерку, он, по совести, не находил ни одного, на которого мог бы с уверенностью указать: «Вот мой преемник!» Так что когда интрига задумала во что бы то ни стало уронить Трезорку в мнение купца Воротилова, то она достигла только одного – и притом совершенно для нее нежелательного – результата, а именно: выказала повальное оскудение псовых талантов.

Не раз завистливые барбосы, и в одиночку, и небольшими стайками, собирались во двор купца Воротилова, садились поодаль и вызывали Трезорку на состязание. Поднимался несосветимый собачий стон, который наводил ужас на всех домочадцев, но к которому хозяин дома прислушивался с любопытством, потому что понимал, что близко время, когда и Трезору понадобится подручный. В этом неистовом хоре выдавались голоса недурные; но такого, от которого внезапно заболел бы живот со страху, не было и в помине. Иной барбос выказывал недюжинные способности, но непременно или перелает, или недолает. Во время таких состязаний

¹⁸ *Мой грех! мой тягчайший грех! (лат.)*

¹⁹ *По собственному побуждению (лат.)*

заний Трезорка обыкновенно умолкал, как бы давая противникам возможность высказаться, но под конец не выдерживал и к общему столу, каждая нота которого свидетельствовала об искусственном напряжении, присоединял свой собственный свободный и трезвенный лай. Этот лай сразу устранял все сомнения. Заслышав его, кухарка выбегала из стряпущей и ошпаривала коноводов интриги кипятком. А Трезорке приносила помоев.

Тем не менее купец Воротилов был прав, утверждая, что ничто под луною не вечно. Однажды утром воротиловский приказчик, проходя мимо собачьей конуры в амбар, застал Трезорку спящим. Никогда этого с ним не бывало. Спал ли он когда-нибудь – вероятно, спал, – никто этого не знал, и, во всяком случае, никто его спящим не заставал. Разумеется, приказчик не замедлил доложить об этом казусе хозяину.

Купец Воротилов сам вышел к Трезорке, взглянул на него и, видя, что он повинно шевелит хвостом, как бы говоря: «И сам не понимаю, как со мной грех случился!» – без гнева, полным участия голосом, сказал:

– Что, старик, на кухню собрался? Стара стала, слаба стала? Ну, ладно! ты и на кухне службу сослужить можешь.

На первый раз, однако ж, решились ограничиться приисканием Трезорке подручного. Задача была нелегкая; тем не менее, после значительных хлопот, успели-таки отыскать у Калужских ворот некоего Арапку, репутация которого установилась уже довольно прочно.

Я не стану описывать, как Арапка первый признал авторитет Трезорки и беспрекословно ему подчинился, как оба они подружились, как Трезорку, с течением времени, окончательно перевели на кухню и как, несмотря на это, он бегал к Арапке и бескорыстно обучал его приемам подлинного купеческого пса... Скажу только одно: ни досуг, ни обилие сладких кусков, ни близость Кутьки не заставили Трезорку позабыть те вдохновенные минуты, которые он проводил, сидя на цепи и дрожа от холода в длинные зимние ночи.

Время, однако ж, шло, и Трезорка все больше и больше старелся. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги; глаза почти не видели; уши висели неподвижно; шерсть свалялась и линяла клочьями; аппетит исчез, а постоянно ощущаемый холод заставлял бедного пса жаться к печке.

– Воля ваша, Никанор Семеныч, а Трезорка

начал паршиветь, – доложила однажды купцу Воротилову кухарка.

На этот раз, однако, купец Воротилов не сказал ни слова. Тем не менее кухарка не унялась и через неделю опять доложила:

– Как бы дети около Трезорки не испортились... Опаршивел он вовсе.

Но и на этот раз Воротилов промолчал. Тогда кухарка, через два дня, вбежала уже совсем обозленная и объявила, что она ни минуты не останется, ежели Трезорку из кухни не уберут. И так как кухарка мастерски готовила поросенка с кашей, а Воротилов безумно это блюдо любил, то участь Трезоркина была решена.

– Не к тому я Трезорку готовил, – сказал купец Воротилов с чувством, – да, видно, правду пословица говорит: собаке – собачья и смерть... Утопить Трезорку!

И вот вывели Трезорку на двор. Вся челядь высыпала, чтоб посмотреть на предсмертную агонию верного пса; даже хозяйские дети окно обсыпали. Арапка был тут же и, увидев старого учителя, приветливо замахал хвостом. Трезорка от старости еле передвигал ногами и, по-видимому, не понимал; но когда начал приближаться к воротам, то силы оставили его, и надо было его тащить волоком за загривок.

Что затем произошло – об этом история умалчивает, но назад Трезорка уж не возвратился.

А вскоре Арапка и совсем изгнал Трезоркин образ из сердца купца Воротилова.



УЧИТЕЛЮ И УЧЕНИКУ

Вопросы к обсуждению произведения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Сказки»

В конце практически каждого номера «Путеводной звезды» редакция предлагает вопросы для обсуждения прочитанного произведения – в классе, библиотеке или в кругу семьи. В журнале «Путеводная звезда. Школьное чтение» № 1 за 2026 год опубликованы сказки классика русской литературы Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Они основаны на западноевропейских и русских литературных традициях, самобытны, уникальны. В них соединено воедино фантастическое и реальное, комическое и трагическое... Писатель использует гротеск, гиперболу, эзопов язык... Для внимательного читателя находить способы, какие использует Салтыков-Щедрин для создания своих образов, – большое удовольствие! И еще. Эти сказки – своеобразная энциклопедия русского общества середины XIX века. Вдумываясь в эти сказки, мы лучше будем понимать и себя, сегодняшних.

Надеемся, эти вопросы помогут вам составить интересный разговор о произведениях замечательного писателя.

1

Что вы знаете о жизни М. Е. Салтыкова-Щедрина? Какие факты его биографии повлияли на его мировоззрение?

2

Вы согласны с мнением одного из цензоров сказок: «То, что г. Салтыков называет сказками, во все не отвечает своему названию; его сказки – та же сатира, и сатира едкая... направленная против общественного и политического нашего устройства»? Обоснуйте свое мнение.

3

Какие основные темы поднимает Салтыков-Щедрин в этих произведениях?

4

Как вы думаете, почему писатель для изложения своих мыслей прибегает к жанру сказки? Чем его сказки отличаются от русских народных?

5

Как вы понимаете смысл слов «гротеск», «фантастика», «пародия», «ирония», «сарказм», «литота»? Приведите их примеры из сказок.

6

Расскажите о той сказке, которая вам понравилась больше других. Какая основная ее мысль? Кто из героев вам наиболее запомнился и почему? Какие средства выразительности применил автор при создании их образов?

7

Постарайтесь написать свою сказку и пришлите ее в «Путеводную звезду» на адрес pzv@detfond.org

Журналы Российского детского фонда

Став инициатором создания и учредителем нескольких журналов, Российский детский фонд считает их своей нравственной программой защиты детей, программой помощи взрослым — учителям, врачам, родителям, вообще — защитникам детства. Поэтому, привлекая внимание взрослых к этому своему

проекту, прежде всего губернаторов, глав территорий, руководителей органов образования, здравоохранения, социальной защиты, иных госструктур, в полномочия и задачи которых, безусловно, входит духовная защита детства, Российский детский фонд надеется на партнерство и сотрудничество.

Наши координаты для связи:

101990, Москва, Армянский пер., 11/2а.

Тел. (495) 625 82 00, факс (495) 624 24 90. E-mail: izdatelstvo@defond.org



Журнал «Путеводная звезда. Школьное чтение» (с 1996 по 2000 год — «Школьная роман-газета») рекомендован Министерством образования РФ для программного и внеклассного чтения всех средних учебных заведений. «Путеводная звезда» — это еще и помощь учителю литературы, истории и иных гуманитарных дисциплин. В конце каждого номера публикуется конспект учительских вопросов ученикам, которые позволяют провести содержательный диалог по обсуждению каждого опубликованного произведения. Внутри номера — журнал в журнале «Большая перемена», постоянно публикующий письма, стихи и прозу детей, публицистику, обращенную к ним, юмор, а также другие материалы.

Подписные индексы журнала «Путеводная звезда. Школьное чтение»:
в каталоге «Роспечать» — 72722 (полугодовой), 71895 (годовой),
в каталоге «Почта России» — П 1953, П 5924 (годовой).

Ярко иллюстрированный журнал для детей и юношества. Издается по благословию Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его цель — православное воспитание и просвещение. В увлекательной форме журнал рассказывает о тысячелетней истории Русской Православной Церкви, о нашем Отечестве — его духовной основе, культуре и искусстве. Материалы «Божьего мира» могут быть использованы на занятиях в православных гимназиях, в школах — воскресных и общеобразовательных, для чтения в семейном кругу. Выходит 6 раз в год.

Подписные индексы журнала «Божий мир»:
в каталоге «Роспечать» — 71168,
в каталоге «Почта России» — П 5266.



«Дитя человеческое» — это журнал для родителей, учителей, врачей — всех, кому дороги дети и детство. А еще у него есть подзаголовок: взрослым о детях. Журнал публикует законы Российской Федерации, а также наиболее значимые законы регионов на тему детства. Публикует материалы об образовании и здоровье детей, постоянно специальные свои номера он посвящает положению детей в России — как независимые доклады общественной организации взрослых в защиту детства — Российского детского фонда. Публикуются репортажи и иные материалы о работе общественных организаций страны, Российского детского фонда, Международной ассоциации детских фондов. Цветное иллюстрированное издание. Выходит 6 раз в год.

Подписные индексы журнала «Дитя человеческое»:
в каталоге «Роспечать» — 72462, в каталоге «Почта России» — П 5192.



Общероссийский общественный благотворительный фонд «**РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД**»



**QR-код
для финансовой
поддержки**

Российский детский фонд – это организация взрослых в защиту детства. Является правопреемником Советского детского фонда им. В. И. Ленина, учредительное собрание которого состоялось 14 октября 1987 года в Колонном зале Дома Союзов.

Российский детский фонд – это первая и самая крупная в стране благотворительная организация.

Отделения Фонда работают в 67 регионах.

Почти 40 лет помощь получают страждущие дети – сироты, инвалиды, ребята из многодетных семей, те, чьи родители погибли, выполняя служебный долг... Все те, кто остро нуждается в поддержке.

Работа активно ведется по 30 программам, среди которых «1 июня – Международный день защиты детей», «Дети Донбасса», «Панда», «Начеку!», «Духовная защита», «Детский туберкулёз», «Детский диабет», «За решёткой – детские глаза», проекты «Мили доброты» и «Звуки жизни»...

Девиз Фонда:

«Ни дня без доброго дела!»

Главный принцип:

**«Дети вне политики, вне
национальности»**

Во времена трудных испытаний Детский фонд всегда был вместе со страной. И всегда – на переднем крае.

Вы можете стать Волонтером
Российского детского фонда!
Присоединяйтесь к нам!

Российский детский фонд

Адрес:

101990 Москва, Армянский пер. 11/2а

Телефоны:

+7 (495) 625-82-00 (приёмная Председателя Фонда)

+7 (495) 623-10-95 (секретариат)

Электронная почта:

info@detfond.org